

К. Г. ЛЕВЫКИН

Мой университет

Для всех — он наш,
а для каждого — свой



Константин Левыкин

**Мой университет: Для всех –
он наш, а для каждого – свой**

«Языки Славянской Культуры»

2006

Левыкин К. Г.

Мой университет: Для всех – он наш, а для каждого – свой /
К. Г. Левыкин — «Языки Славянской Культуры», 2006

В предлагаемой читателю книге автор завершает свою автобиографическую трилогию, начатую с воспоминаний о далеком детстве в деревне Левыкино, а затем продолженную повествованием о московской жизни в тревожные, но счастливые тридцатые годы школьной предвоенной юности. После четырех лет войны, а затем еще четырех лет солдатской службы судьба связала его на всю оставшуюся жизнь с Московским государственным университетом. Память сохранила ему живые картины послевоенной пятилетки студенческой жизни с друзьями-однокурсниками, годов учебы, учителей, профессоров и преподавателей, завершения учебы в аспирантуре, а затем его вхождения в научно-преподавательскую деятельность на историческом факультете. Большое место заняли в книге воспоминания об участии автора в общественной жизни университета в беспокойные десятилетия истории советского общества второй половины XX века. Свою повесть заслуженный профессор Московского государственного университета Константин Григорьевич Левыкин завершает размышлениями о переменах в жизни Московского университета, произошедших в годы, предшествующие 250-летнему юбилею его истории, органичной частью которой он сам продолжает оставаться вот уже более пятидесяти лет.

© Левыкин К. Г., 2006

© Языки Славянской Культуры, 2006

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть I | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

Константин Григорьевич Левыкин **Мой университет: Для всех –** **он наш, а для каждого – свой**



Левыкин Константин Григорьевич – уроженец деревни Левыкино Мценского района Орловской области.

Родился 25 февраля 1925 года. В 1941 г. окончил 9 классов в школе № 270 Ростокинского района города Москвы. Участник Великой Отечественной войны – доброволец. Оборонял Москву в 1941–1942 гг. В 1942–1943 гг. воевал на Северном Кавказе и на Кубани. Участник парада Победы 24 июня 1945 года. В 1949–1954 гг. учился в Московском Государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1957 г. закончил аспирантуру исторического факультета МГУ. Кандидат исторических наук. Профессор МГУ. В 1976–1992 гг. – директор Государственного Исторического музея.

Часть I

Моя студенческая послевоенная пятилетка

Вот уже четвертый год пошел с того времени, когда я написал первые строки своих воспоминаний. Я начал их тогда с сомнений – стоит ли будоражить свою память, совсем не будучи уверенным, что они когда-нибудь кому-нибудь покажутся интересными. Сильно сомневался я и в том, смогу ли снова мысленно пройти по своим жизненным дорогам, ничего не позабыв, ничего не прибавив к прожитому и пережитому, сказать при этом правду и о себе, и о тех, с кем вместе шел к общей цели, с кем соглашался, с кем спорил, с кем дружил, а с кем и разошелся в выборе идеалов и житейских принципов, смогу ли я справедливо оценить свои собственные решения и поступки и понять выбор тех, с кем жизнь меня развела и не примирила. Наконец, сомневался я и в том, хватит ли желания и времени на затеваемый длинный монолог, разговор с самим собой, не надоеет ли он мне самому.

Сомнения эти и до сих пор сопровождают меня в моих письменных раздумьях. Но одно из них я преодолел окончательно. Теперь я уверен, что не остановлю своей исповеди, пока не подведу последний итог прожитых мною почти восьми десятков лет жизни. Думаю, что ее остаток уже не принесет мне переживаний и поступков, которые бы сравнились с прошлым и что-либо изменили в моих взглядах и оценках.

Теперь я попробую вернуться почти на пятьдесят лет назад в коридоры, аудитории, лектории, актовые залы, в библиотеки и читальные залы, на спортивные площадки Московского университета, к дружной братии моих однокурсников, к моим уважаемым и дорогим учителям, к моим очень разным по интересам, по прилежанию, по характеру и поведению, но очень похожим друг на друга по университетской стати ученикам-студентам. Судьба подарила мне возможность прожить с ними интересную жизнь. О ней я мечтал долгие годы своей походной, боевой и казарменной солдатской жизни. Иногда мне казалось, что военная судьба уж навсегда лишила меня возможности познать ее, вернуться в уходящую юность. Я начинал даже убеждать себя, что нет смысла мечтать об учебе, что надо искать другие, более простые пути в свое мирное будущее, которое я долго ждал, не зная, когда оно наступит. Но всякий раз, когда мне случайно приходилось видеть в кино или встречаться в жизни со студентами у институтов или общежитий, на спортивных или танцевальных площадках, не злая, а добрая зависть от их звонкого смеха и веселья, от их умных шуток и острот, от серьезных разговоров между собой рождала у меня желание быть среди них, стать таким же, как и они, – веселым, уверенным и целеустремленным.

Добрые люди, мои старые довоенные учителя, мои заботливые командиры и начальники, мои учителя в послевоенной школе рабочей молодежи помогли мне осуществить это желание. Заканчивая свою воинскую – сержантскую – карьеру в дивизии имени Дзержинского на девятом году службы я сумел все-таки стать студентом-заочником первого курса Московского государственного университета. А моя настоящая студенческая жизнь началась с апреля 1950 года после того, как я с заочного перевелся на дневное отделение исторического факультета.

Перерыва между моей завершившейся, наконец, военной службой и учебой в МГУ не было. Демобилизовался я 28 марта и в следующий же понедельник пришел на первое занятие по расписанию дневного отделения. В тот день я впервые увидел своих новых товарищей-однокурсников, которых теперь, спустя пятьдесят лет, вспоминаю так же, как своих довоенных одноклассников и как фронтовых однополчан.

Когда я вошел в Ленинскую аудиторию вместе со спешащими на лекцию моими теперь уже однокурсниками, мне показалось, что моего появления никто не заметил.

Нижние ряды аудиторного амфитеатра были уже заполнены. Я поднялся наверх и скромно устроился в свободном ряду. Рядом присели еще несколько человек. Вот они-то, наверное, заметили во мне постороннего, незнакомого им человека. В это время в аудиторию вошел лектор – пожилой, благообразного вида человек с серьезным, озабоченным лицом и большим портфелем, из которого, взойдя на кафедру, он извлек стопку листов, положил их перед собой и, оглядев всю успокаивающуюся и шумную аудиторию, объявил тему лекции. Если мне не изменяет память, она была посвящена проблеме политического руководства массовым общественным движением в России накануне Первой русской революции. Лектором оказался доцент кафедры основ марксизма-ленинизма Петр Николаевич Патрикеев. Аудитория поутихла, и лектор ровным, невыразительным голосом стал читать лекцию, переключая листок за листком из заметно поношенной бумажной стопки. Время от времени он делал небольшую паузу, чтобы осмотреть аудиторию. Своим испытующим взглядом поверх очков он успевал во время короткой паузы, словно прожектором, прошарить все ряды аудитории. Успевал ли он увидеть все, запомнить каждого, кто не удостаивал его своим вниманием, умел ли он разглядеть, кто и чем занимается в момент, когда он назидательно читал нам со своих листков об основных принципах стратегии и тактики политического руководства трудящимися массами в ходе назревающей демократической революции в России, я не знаю. На этой лекции я был свободен от обязанности ее торопливо конспектировать, ибо накануне своего перевода на дневное отделение по совету доцента Георгия Семеновича Гулько, который на заочном отделении вел с нами семинары по этому же предмету, я сдал и зачет, и экзамен по первой части курса. И поэтому, слушая лектора, я вместе с ним наблюдал за незнакомой мне жизнью, в которую еще только должен был войти и стать неотъемлемой частью университетской студенческой братии. Сверху мне удавалось увидеть значительно больше, чем строгому доценту П. Н. Патрикееву снизу.

Внизу, слева от кафедры, стоял длинный стол, вокруг которого плотно устроилось человек двадцать самых прилежных, как я потом окончательно определил, студентов. Большую их часть составляло общественное руководство курса. Все они усердно строчили в своих тетрадках, ловя каждое слово лектора. С таким же рвением строчили и первые три ряда аудиторного амфитеатра, тоже довольно тесно заполненные слушателями. Здесь также была сосредоточена наиболее сознательная и дисциплинированная их часть.

В средних рядах аудитории, «заселенных» уже менее плотно, публика собралась иная. Здесь кроме тех, кто слушал лектора, было немало и таких, у кого были иные заботы: некоторые занимались переводами с латыни и греческого, немецкого, французского и английского, а кое-кто – и с восточных языков. Другие же, сбившись в компании по два-три человека, обменивались какими-то новостями. Позже на собственном опыте я убедился, что в средних рядах лектора было плохо слышно. В Ленинской аудитории акустика была плохая, а радиотехникой ее еще не оборудовали. Может быть, поэтому средние ряды и были заселены неплотно, а может быть, и потому, что лектор не мешал премудрым студентам доделывать то, что они не успели сделать дома, готовясь к практическим семинарам. Еще позже я понял, что в средних рядах собирались те, кого не очень беспокоила неизбежность экзаменационных сессий.

Верхние же ряды аудитории были заняты совсем мало. Иногда сидящие группами по двое-трое находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. А вот некоторые предпочитали солидно восседать в одиночестве и в собственных раздумьях. Со временем я также понял, что здесь собиралась самая претенциозная публика, самые независимые от общественного мнения оригиналы – будущие профессора и доктора наук. Здесь постоянно располагались наши курсовые востоковеды – Пахом Куланда, Эдик Грантовский, Вася Богословский, Юра Ванин, Коля Киреев. Конечно, по именам я узнал их несколько позже. Но особенно привлек мое внимание один необычный студент. В первый мой день он появился в дверях аудитории, когда все уже приготовились слушать лектора. Окинув взглядом притихшую аудиторию сквозь

стекла редкого в то время пенсне и сняв широкополую шляпу, он уверенно зашагал навверх к своим товарищам. С длинными волосами, с одухотворенным профилем поросшего пробивающейся юношеской щетинкой лица, он показался мне литературным образом студента-нигилиста, а может быть, даже и народовольца. Это был Юра Чудодеев. В своем книжном историческом образе он пребывал все пять студенческих лет. А по их прошествии он вырос в красивого, вполне реального русского интеллигентного мужчину, очень внимательного и приблизившегося к своим вошедшим в солидный возраст однокурсникам.

На самом же верху, на галерке, восседал в задумчивости и будущий известный археолог Герман Алексеевич Федоров-Давыдов, и Эмиль Меликян, к сожалению, ушедший из жизни студентом пятого курса. Иногда с ним рядом подсаживался тоже ставший известным в будущем этнограф Владимир Владимирович Пименов.

Все независимые либерал-демократы группировались с правой стороны галерки. А на левой собиралась в переменном составе иная публика. Там обычно группировалась мужская кавказская диаспора, среди которой выделялся веселым видом и нравом Газанфар Мамедалиев, никогда не отягощенный учебными заботами. Он был заядлым футбольным болельщиком. Болел он, конечно, за бакинский «Нефтяник», но в Московском университете преданно болел за университетскую сборную и, особенно, за команду исторического факультета. Ему суждено было стать и моим болельщиком, поскольку судьба свела меня на галерке почти со всей командой курса во главе с Володией Трифоновым,левой Филатовым илевой Герасимовым. По пятибалльной системе представители спортивной галерки не всегда выглядели благополучно. Все же занятия спортом не мешали их научным интересам, и по окончании университета все они нашли свое место в науке. Это удалось сделать и всегда беспечно веселому Газанфару.

Я познакомился с этими интересными ребятами на второй или третьей лекции, и они приняли меня в свою команду. Лидером в ней был Володя Трифонов, красивый парень и типичный московский футболист сначала дворовой команды, а потом – команды со стадиона «Юных пионеров». В день нашего знакомства он по-деловому выяснил мое отношение к футболу и, обрадовавшись тому, что я играл за полковую команду вратарем, предложил мне сразу, не откладывая, сыграть на следующий день в товарищеском матче между однокурсниками, живущими в общежитии, и москвичами. У москвичей как раз не хватало вратаря. Я, конечно, согласился. Пришлось, правда, сразу пропустить занятие по немецкому языку. Ребята уговорили меня, ссылаясь на свой опыт, что вреда от этого не будет. Но я, не отвыкнув еще от воинских порядков, попросил разрешения у преподавательницы, еще незнакомой мне, сославшись на то, что якобы должен принять участие в спортивном соревновании по плану кафедры физкультуры.

Матч проходил в подмосковном Вострякове, на пристанционном пустыре. Наша команда показалась мне менее спортивной, но более интеллектуальной, очкастой и худосочной. В этом смысле особенно оригинально выглядели мои защитники – Эдик Грантовский (по кличке Шавка) и Васька Богословский. Я сразу понял, что надежда на безопасность ворот с этими интеллигентами будет небольшая. Но, к удивлению, эти очкарики играли зло и непримиримо. Правда, мы проиграли со счетом 1: 2. Общежитийцы-стромынчане были сильнее нас. Особенно настырными у них оказались Лева Филатов и недавний солдат, все еще носивший кирзовые сапоги Сталин Дмитренко. Первому удалось забить мне два гола. А второго я все-таки нейтрализовал, приложив его пару раз к матери – сырой земле.

Несмотря на поражение, мой футбольный дебют был удачным: я тогда взял пенальти, пробитый Филатовым. Мне удалось переиграть его психологически. Он, готовясь к удару, зло и решительно смотрел на меня. А я использовал свой прием: когда он разбежался, я в это время нахально бормотал ему навстречу: «Бей на меня, бей на меня». И настырный форвард из Мордовии пробил прямо на меня. Долго он не мог простить мне эту хитрость. Но в конечном итоге

с того момента началась наша дружба. Этот первый экзамен знакомства я выдержал, и галерка приняла меня в свою компанию.

Так началось мое знакомство с однокурсниками. Само собой получилось так, что я оказался в самом средоточии очень разного по поведению, по внешним признакам отношения к занятиям, по материальной обеспеченности, по житейским интересам и другим, не обнаруженным еще мною индивидуальным и общественным мотивациям и амбициям курсового потока числом почти в триста человеческих душ. Выше меня рядами сибаритствовала вольная, либеральная и спортивная галерка. Внизу шуршали строчками конспектов передовики-активисты. А между ними более чем вполовину курса – середняки.

Знакомство с курсом, вхождение в его жизнь продолжалось. Инкогнито пришлось мне тогда оставаться недолго. В перерыве после первой лекции ко мне подошел очень серьезного вида студент и вежливо попросил меня объяснить причину посещения лекции. Сам он при этом представился старостой курса Иваном Иващенко. Я сразу признал в нем своего брата-старослужащего. Выглядел староста постарше меня, а ростом – пониже. Одет он был в офицерский китель, но с гражданскими брюками, а обут в поношенные ботинки. Начавшееся знакомство располагало к дружеской беседе. Я коротко рассказал ему о себе, о своей дороге в университет. А он рассказал о своей. Всю войну он отлетал штурманом на «Петлякове-2». После ранения в самом конце ее, получив инвалидность и ничего больше не приобретя, кроме профессии военного штурмана, он был демобилизован. В карманах офицерского кителя тоже было негусто. Гражданскую жизнь пришлось начинать инвалиду сначала. Он выбрал Московский университет и будущую – совсем не денежную профессию историка-медиевиста. Трудов для овладения этой профессией ему предстояло затратить немало. Помимо европейского языка ему надо было одолеть совсем незнакомую латынь. Скоро я узнал и о том, что Ваня Иващенко на курсе успел стать уважаемым «старшим товарищем». Младшие сокурсники называли его Иваном Ивановичем.

Разговор со мной староста начал вежливо, но по-офицерски строго. Я назвал свое имя и фамилию и объяснил, что вчера приказом проректора переведен с заочного отделения на дневное в связи с демобилизацией из Советской Армии. Приветственно улыбнувшись, Иван Иванович по-братски хлопнул меня по плечу. Это означало, что я был принят и в компанию сокурсников-старослужащих, что в ее полку прибыло. И еще он пообещал мне свою помощь в новых незнакомых обстоятельствах. Когда после перерыва прозвенел звонок и пока лектор еще не занял свое место на кафедре, он сразу же представил меня всему курсу.

На той же лекции случай помог мне увидеть еще одного курсового лидера. Как только окончилась лекция, где-то с галерки, около того места, где я сидел, раздался громкий мужской голос, призывающий курс задержаться для прослушивания объявления профбюро. Мимо меня простучал кирзовыми сапогами брюнет в солдатской гимнастерке и по-хозяйски устроился на профессорской кафедре. Это был председатель курсового студенческого профбюро. Имя его необычное я узнал позже. Звали его Стали́ном Дмитренко. Объявление его состояло из короткого сообщения о проведенной ревизионной проверке курсовой кассы взаимопомощи и о том, что она возобновляет выдачу средств нуждающимся, прием взносов и возврат займов. Всеми этими вопросами по поручению профбюро должна была заниматься, как сообщил председатель, казначей Анна Молюжинец. С тех пор мне запомнились имя и фамилия нашей казначейши. И до сих пор, когда мне приходится встречаться с Анной – преподавателем Института стран Азии и Африки, – я так ее и приветствую, как «казначей нашего курса».

Со Стали́ном Дмитренко мы познакомились чуть позже, когда он строго и серьезно принимал меня в члены профсоюза на заседании профбюро. А еще позже я узнал, почему родители назвали его таким необычным именем. Они были партийными работниками в Кировоградской области. Своего единственного сына они решили назвать так совсем не в честь Великого Сталина. Сын их родился в 1926 году, в самом начале индустриализации, и имя ему было дано в

знак верности политике, объявленной ВКП(б). Они назвали его Сталью. Но очень скоро они все же догадались, что это индустриально-металлургическое существо женского рода. Выход же из случившегося казуса нашли в том, что стали звать сына Стали́ном. Он носил это имя до известного постановления ЦК КПСС о культе личности. С тех пор наш бывший бес-сменный председатель курсового профбюро стал зваться Сергеем. Надо отдать ему должное, он очень быстро привык к новому имени. А мы, старые однокурсники, до сих пор зовем его Сталиком. Много лет мы дружили с ним по-братски, но новая жизнь в пореформенной, пост-перестроечной России как-то без особых причин развела нас. Странно, однако, что ни он, ни я не проявили за годы размолвки желания восстановить прерванную дружбу. А тогда с первой встречи на лекции по основам марксизма-ленинизма наша дружба с ним только еще начиналась, и я представить себе не мог, что через много лет буду провожать друга в последний путь.

По расписанию первого дня после лекции Петра Николаевича Патрикеева занятия должны были проходить в семинарских группах. Для этого надо было перейти в другие аудитории, которые были определены каждой группе здесь же на Моховой или в здании на улице Герцена. Переход этот надо было совершить за недолгие минуты перерыва. Работяги из передних – нижних – рядов аудитории совершали этот переход бегом, а «вольнодумцы с галерки» делали это неспешно, продолжая начатые там беседы. В этот первый день встречи со своими будущими друзьями мне не удалось поспешить в назначенную моей группе аудиторию. Помешал это сделать человек с галерки, который догнал меня в коридоре «Ленинки» (так в студенческом обиходе именовалась Ленинская аудитория) и представился Ильей Барашковым. Знакомство состоялось очень просто: Илья быстро выведал у меня мои биографические данные вплоть до моих военных фронтов. А узнав, что мне пришлось повоевать на Кавказе, стал сам рассказывать мне о казачьих станицах терского и кубанского войск, о народах, населяющих Северный Кавказ. Я подумал, что он и сам приехал в Москву с Кавказа. Внешний вид его немного наталкивал на такую мысль. На казака-то он похож не был, но за мусульманина мог бы сойти. Был он темноволосым, носатым, хотя и не горбоносим. Говорил быстро, не задумываясь, и речь его звучала по-русски чисто.

Предположение о кавказском происхождении Ильи тут же, по пути на улицу Герцена, отпали. Оказалось, что он уже избрал себе будущую специализацию на кафедре этнографии и какие-то сведения о народах Северного Кавказа уже успел получить из курса лекций. Свою же перспективу учебы на этой кафедре он видел в изучении истории народов Русского Севера. За беседой мы наконец дошли до нашего истфаковского дома – особняка на улице Герцена, где мне предстояла встреча со студентами учебной группы номер 15. Там уже началось занятие по немецкому языку. Илья довел меня до нужной мне аудитории, а сам не торопясь направился обратно на Моховую в тот же аудиторный корпус, где его группа уже заканчивала, наверное, свои занятия по латинскому языку. В последующие дни мы уже встречались с ним как старые знакомые.

Распрощавшись с Ильей, я вошел в просторную аудиторию с низким потолком в верхнем этаже-мансарде нашего факультетского дома. Преподавательница немецкого языка Эрна Карловна Циммерман, очень симпатичная женщина средних лет с веселым располагающим к общению лицом, весело и удивленно воззрилась на меня. Я извинился за опоздание, так как вроде бы не сразу нашел аудиторию, и представился ей как ее новый студент. Эрна Карловна от этих слов удивилась еще больше, однако предложила мне сесть на свободное место за первым столом, напротив нее. До моего появления группа коллективно читала и переводила заданный на дом текст из какой-то брошюры на историческую тему. Кажется, в ней излагался какой-то сюжет из греческой мифологии. В это время над переводом громко трудился юноша, как сейчас говорят, «кавказской национальности». Парень был в напряжении. Он и по-русски-то разговаривал так, что нужен был переводчик, а немецкие слова произносил так, что Эрна Карловна не могла сдержать забавной улыбки. Только ей было ведомо, какой смысл приобретали

произносимые с русско-кавказским акцентом немецкие слова. Она помогала ему, называя его Мусой. А гордый кавказец нервничал. Это был Муса Исмаилов, лезгин из горного Дагестана.

После него преподавательница вдруг предложила мне продолжить чтение текста и попробовать его перевести. Я прочитал. Она поморщилась, а потом, когда я не столько перевел, сколько угадал содержание прочитанного, ободрила меня фразой: «Может быть, у нас с Вами что-нибудь получится». Скажу наперед, немецким языком для свободного разговора я с Эрной Карловной не овладел, но словарный запас накопил большой и научился довольно быстро переводить со словарем неадаптированные исторические тексты. В моей академической группе я оказался, к удовольствию своему и, кажется, Эрны Карловны, передовиком. Оказалось, что наша пятнадцатая академическая группа была составлена наполовину из русских, начинающих изучать немецкий, и нерусских, которым предстояло еще овладеть русским.

Из кавказцев только армянка из Тбилиси Лиля Налгранян и осетин Темир-Балат Сакиев владели русским свободно. А остальные вместе со среднеазиатами с трудом понимали русскую речь и с еще большим трудом – содержание учебников, не говоря уже о научной литературе. Абхазец Шалва Абсава, между прочим, так и не преодолел этого двойного языкового барьера и со второго курса вынужден был возвратиться в Сухуми. А грузин Ингуш Толорайя после того же второго курса вынужден был на год прервать учебу академическим отпуском для того, чтобы не быть исключенным в связи с непроходимой академической задолженностью не только по иностранному языку, но и по историческим дисциплинам. С невероятными усилиями удалось в конце концов преодолеть трудности и с немецким, и с русским языком уже названному Мусе Исмаилову, двум девушкам из Узбекистана Сурат Касымовой и Дулат Рафиковой. Им большую помощь оказали русские подруги, жившие с ними с одной комнате стромынского общежития. Как удалось это сделать казаху Сыргобаю Норматову, я и до сих пор объяснить не могу. А ведь кроме русского и немецкого была еще и латынь. Могу только утверждать, что, если бы не было дружеской и бескорыстной помощи русских однокурсников, вряд ли смогли бы эти «национальные кадры» из нашей и других групп успешно одолеть университетскую науку. В этой помощи выражалась тогда у нас в Московском университете совсем не лозунговая, не пропагандистская идея братской интернациональной солидарности. Русские считали своим человеческим долгом и комсомольской обязанностью помогать своим товарищам из национальных республик, особенно тем, которые приехали из среднеазиатских и кавказских аулов и селений. Помнят ли это теперь все они, достигшие успехов и в науке, и в педагогической, и в общественной деятельности в своих суверенных республиках? Помнят ли наши друзья из пятнадцатой группы имена своих русских товарищей и, прежде всего, имена заботливых девушек – старосты группы Тамары Ползуновой, Иры Пичугиной, Нели Марьиной, Жанны Крупник, Нины Егоровой, Лили Налгранян, рассказывают ли о них своим студентам, детям, внукам? Не забыли ли они их искреннюю доброту и бескорыстную помощь и сочувствие?

Следующее испытание мне пришлось пройти в тот же день на занятиях латинским языком. Их вела с нашей группой Елена Борисовна Веселаго. Это была женщина уже преклонного возраста, родившаяся наверное, в XIX веке и дворянско-аристократического происхождения. На последнее указывала фамилия знатного российского рода. Она встречалась и в художественной, и в исторической литературе у государственных деятелей, военных и просто интеллигентных русских людей. Будучи уже преклонных лет, Елена Борисовна выглядела женщиной энергичной, сохранившей и былую красоту, и фамильное достоинство, и грамотную русскую речь. Она знала не только латынь, но и древнюю историю, и древнюю литературу, особенно поэзию. Наверное, будь мы более восприимчивы к ее предмету и более готовы воспользоваться своими возможностями, общение с этим интересным человеком было бы для нас значительно полезнее. Но для кавказско-среднеазиатского большинства латынь была просто непреодолимой. Признаюсь, и я вместе с Сашей Ерастовым, тоже бывшим солдатом, воспринимал ее как неизбежность, которую надо было преодолеть и этим освободить себя, как нам казалось,

для более нужного сосредоточения сил и времени для дальнейшей специализации по новой и новейшей истории России. Елена Борисовна это понимала и все свое внимание отдавала нашим русским девушкам. Они ей были интереснее, особенно Нина Егорова и Ира Пичугина, уже решившие заниматься на кафедре древней истории и Средних веков. Меня она встретила так же удивленно, как и преподавательница немецкого, также выслушала мои объяснения по поводу запоздалого появления в ее группе. Но в отличие от Эрны Карловны, обнадежившей меня, что «что-нибудь получится», оказалась более сдержанной насчет моих перспектив. «Ну что ж, посмотрим», – сказала она и пригласила сесть тоже за передним столом.

Учась на заочном отделении, латынью я занимался самостоятельно по методическому пособию преподавателя Домбровского. Несколько раз на так называемых установочных занятиях в зимнюю сессию первого курса я встречался с ним лично. Человеком он оказался необычным и интересным. Но на нашем заочном усвоении грамматики латинского языка это никак не отразилось. Увлёк он нас совсем в другую сторону, представившись активным участником проходившей в то время дискуссии о проблемах научного языкознания. Заявив себя «мичуринцем советского языкознания», он очень быстро почти убедил нас, тоже марксистов, в том, что, руководствуясь методологией марксизма, можно объяснить закономерности развития языка как средства общения между людьми. Во главу угла своих умозрительных построений «философ-мичуринец» поставил определяющую роль социально-экономических и производственных отношений. Он тогда очаровал нас легкостью и простотой доказательства того, что в человеческом языковом общении на стадии первобытно-общинного строя множественное число в грамматике всех языков появилось раньше, чем единственное. У первобытных общинников и в родоплеменном обществе сначала должно было появиться местоимение «мы», а не «я» и определения «наше», а не «мое», так как в то время еще не произошло имущественного расслоения, а люди жили в первобытном коммунизме. Признаюсь, что наш латинянин здорово заморочил наши неискушенные в философии головы своим ортодоксально-марксистским методом познания истории языка. Однажды я даже попытался посвятить в эту тайну языкознания одного из моих друзей, который вообще не имел никакой склонности к философии. Сначала он удивился такому ходу рассуждений. Но после короткого раздумья он растерянно сказал: «Ну и как же тогдашний человек мог обойтись без слов *мой нос*, *моя рука*?» Этим очень простым вопросом он разрушил марксистско-мичуринское легкомыслие нашего латиниста, а мне посоветовал не быть дураком. Как бы то ни было, а квазимарксистские изыскания нашего преподавателя-латиниста отвлекали нас от латыни. На дневное отделение я перешел почти с нулевым показателем в ее познании. Елене Борисовне Веселаго нужны были не рассуждения о языке как средстве общения между людьми, а знания грамматики, словарный запас и умение переводить тексты. Не лишая меня права на собственный выход из создавшегося положения, она сказала, что, если я смогу получить зачет, а потом и сдать экзамен, произойдет чудо. И все-таки я доставил ей такое удовольствие, затратив труд и терпение на то, чтобы к экзамену на зимней сессии второго курса выучить на память весь текст «Записок Цезаря о Галльской войне». Мне это посоветовал сделать староста курса Иван Иванович. Я выучил к экзамену не только текст, но и все примеры на склонения существительных и местоимений, спряжения глаголов и другие грамматические правила. Кроме того, я выучил наизусть стихотворение Овидия «Пирам и Тисба».

Экзамен в присутствии Елены Борисовны в нашей группе принимал сам заведующий кафедрой древних языков Виктор Михайлович Соколов, тоже Божией милостью редчайший не только, наверное, в Москве латинист. Мне досталась для перевода первая глава Цезаревых «Записок». Я и сейчас ее помню: «Омниа Галия дивиза ест партес трес» (кажется, так). Я ее бойко прочитал, перевел, назвал все падежи и склонения. А потом с выражением прочитал стихотворение:

Пирамус эт Тисбе
Ювенум пульхеримус альтер
Альтера квас ориент
Хабуйт прелата пуелис...

Виктор Михайлович, услышав все это, был очень доволен и, кажется, даже растроган. Он хотел даже поставить мне пятерку. Но тоже очень довольная Елена Борисовна уговорила его поставить мне четверку. Я был тогда тоже очень доволен собой.

В общем, в ритм учебы на дневном отделении я вошел спокойно, без осложнений и потерь в баллах. Еще на заочном я выполнил курсовую работу по истории Древнего Востока у доцента Пикуса. Поэтому курсовую по Греции мне писать на дневном не пришлось. А на семинаре по истории СССР в нашей группе оказалась доцент Александра Михайловна Михайлова, которая и на заочном отделении вела у нас тот же семинар. Там же я успел у нее почти закончить доклад на тему «Осада Троице-Сергиева монастыря польско-шведскими интервентами». Встретив меня снова на дневном отделении, она разрешила мне представить подготовленный доклад в качестве курсовой работы. Получилось даже так, что первый курс я завершил с двумя курсовыми вместо положенной одной. Таким образом, я оказался в компании самых передовых студентов-отличников, которые тоже подали по две курсовые работы. Оба они были Юриями – один курчавый брюнет, упругий и подвижный толстячок из Тулы – Воскресенский, а другой – Суворов, очень серьезный и очень примерный мальчик из Ярославля. Оба они поступили на первый курс как медалисты, и оба они еще в десятом классе были приняты кандидатами в члены ВКП(б).

Ну а у меня к летней сессии первого курса оказалось преимущество на один досрочно сданный экзамен по истории Древнего Востока. У самого заведующего кафедрой профессора Авдиева я получил пятерку. По пятерке мне поставили по истории Древней Греции и по истории СССР (часть первая) доценты Н. Д. Редер и Дацюк. Таким образом, программа первого курса была мной успешно выполнена. Но вдруг в деканате мне сказали, что надо еще сдать экзамен по военному делу. Этого я никак не ожидал. Ведь еще и трех месяцев не прошло после того, как я после восьми лет и пяти месяцев службы снял с себя солдатскую шинель. Пришлось идти на военную кафедру к генералу Артемьеву с просьбой отменить мне эту повинность. Старичок-генерал, между прочим, был братом командира нашей дивизии имени Дзержинского. Я представился ему как омсдоновец (так звучало название нашей дивизии, сокращенно – ОМСДОН). Он был очень доволен встречей и с интересом выслушал мой рассказ о службе в прославленной дивизии. Но, увы, экзамена мне не отменил и направил к преподавателю кафедры подполковнику Ладинскому. Я пошел, надеясь, что тот зачтет мою многолетнюю безупречную службу и не будет испытывать меня экзаменом. Подполковник принял меня приветливо, поинтересовался моей службой. В разговоре выяснилось, что он был знаком с моим командиром полка полковником П. С. Великановым, у которого мне пришлось быть в 1946 году на Западной Украине в личной охране. Беседа завязалась как между однополчанами. Но вдруг подполковник прервал ее и предложил мне несколько вопросов по воинским уставам. От такого неожиданного поворота я как-то растерялся и не смог дать точное уставное определение службы полевого караула. Подполковник развел руками и поставил мне четверку. Она лишала меня повышенной стипендии, которая назначалась только круглым отличникам.

* * *

К концу второго семестра мне удалось познакомиться со многими сокурсниками, послушать лекции знакомых мне только заочно профессоров, авторов учебников, с составом учебной части деканата и с партийным руководством курса и факультета. В какой-то мере мои

сотоварищи узнали и меня. Уже с конца первого курса я стал известен сначала как вратарь футбольной команды курса, затем – факультета и, бери выше, – университетской сборной. Я уже успел на первом курсе сыграть в ней два или три матча на розыгрыше первенства Москвы среди студенческих команд. А в последующие годы студенческой жизни до конца учебы я продолжал прочно занимать место вратаря в составе второй сборной университета. А иногда меня ставили и за первую. Вообще, спортивная жизнь в университете в те годы была разнообразной и интересной, несмотря на то что у нас тогда не было своего стадиона, хороших спортивных залов и снаряжения. Все это богатство мы получили только к концу учебы, в 1953 году, когда в строй вступил новый комплекс спортивных сооружений на Ленинских горах.

Но оно досталось уже другим поколениям студентов. Только мне всегда казалось, и я до сих пор уверен, что в старых зданиях на Моховой спортивная жизнь более гармонично сочеталась с нашими успехами в учебе. Она не только заполняла досуг, но и способствовала повышению общего тонуса нашего физического и интеллектуального состояния. В спортивных секциях университетской кафедры физвоспитания и студенческого спортклуба занимались будущие кандидаты и доктора наук, будущие доценты и профессора, заведующие кафедрами и научных лабораторий, будущие академики, деканы и в их числе наш будущий ректор Рем Хохлов.

В нашей футбольно-хоккейной секции тренировались и играли математики, механики, физики, химики, географы, биологи, экономисты, историки и юристы. Нас объединял в ней не только азарт спортивного состязания и увлечения любимой игрой, но интерес к университетской науке, преданность университетскому патриотизму, братству и дружбе. Со многими из них моя дружба сохранилась и по сию пору. А тех, кого уж нет, я вспоминаю с добротой и благодарностью. В университетское спортивное сообщество меня ввели мои однокурсники – Володя Трифонов, к сожалению безвременно ушедший из жизни, и ныне здравствующий Лева Герасимов. Они уже к этому времени входили в состав сборной. Сначала я был испытан ими в нашем курсовом турнире – сборная Москвы против сборной СССР на ничейном востряковском пустыре, а затем они пригласили меня в качестве болельщика на предстоящий матч наших университетских команд с командами Института механизации сельского хозяйства на первенство Москвы. С футбольной ватагой и болельщиками МГУ я пришел на стадион «Наука», который был больше похож на пустырь, хотя и располагался на берегу Тимирязевских прудов. Здесь я встретился с университетским тренером Виктором Павловичем Листиковым по кличке Лист, знаменитым в тридцатые годы хоккеистом с Абельмановки, со старейшего стадиона имени Н. И. Бухарина. Теперь он был мастером спорта СССР. В тот же день я познакомился с составами двух сборных команд: с бессменным капитаном первой команды, центральным защитником, физиком, бывшим военным летчиком Валентином Захаровым, с его коллегами физиками – Колей Потаповым, Леней Фатеевым, Виктором Петровым по уважительной кличке Петыч, Левоу Никитиным, Володей Козловым, Димой Костомаровым. Все они, теперь уж более чем взрослые люди, стали учеными и очень даже уважаемыми среди своих коллег. Физики вместе с юристами составляли ядро всего нашего спортивного университетского коллектива. Да, пожалуй, не только спортивного. Оба факультета лидировали в общественной жизни и научном, учебном и общественном руководстве МГУ. Юристы первой сборной составляли больше полкоманды. Имена моих знакомцев стали известны в тот же день: вратарь Ландихов, защитники Б. Селезнев, Б. Попонов и Ю. Правкин, полузащитники В. Туфлин и Р. Асфандияров, нападающие В. Маслов, В. Бесчервных и Ю. Аксюкевич. Географов представляли испанец аспирант Луис Арменгол и В. Бычков, химиков – Д. Кондратьев, А. Сонин, Е. Аптекарь, Э. Еникеев. От математиков в команде состояли Э. Берзин и Ю. Мархасин. От историков нас тогда вместе со мной стало трое. Два или три футболиста в команде были экономистами, их фамилии мне не запомнились. А остальные факультеты футбольными звездами не выделялись, по крайней мере, до середины пятидесятых годов.

Так на стадионе «Наука» я был принят в дружный коллектив университетского футбола. А свой первый матч вратарем в составе второй сборной я сыграл через неделю на старом московском стадионе «Пламя», около Семеновской площади. До сих пор мои бока помнят его засохшее шершавое глинистое поле. А в следующем спортивном сезоне 1951 года обе сборные университета выиграли первенство среди студенческих команд, и я вместе с моими соратниками и благодаря им первый и последний раз в жизни был титулован званием чемпиона и получил второй спортивный разряд по классификации Комитета по физической культуре и спорту СССР. Нас тогда, осенью 1951 года, чествовали на общеуниверситетском вечере спортсменов и вместе с другими чемпионами вручали дипломы и призы победителей. До сих пор, встречаясь в университете или просто на улице, мы искренне радуемся тому, что живы, что когда-то помогали друг другу сохранить свою молодость, ребячий азарт в игре и способность достойно защищать честь своего университетского клуба. Некоторых из моих спортивных одноклубников уже нет в живых. Мы их поминаем на наших немногочисленных встречах. Живые до сих пор остаются друзьями. Совсем недавно на восемьдесят четвертом году жизни нас покинул наш тренер Виктор Павлович Листиков – знаменитый с конца двадцатых и на протяжении всех тридцатых годов московский хоккеист и футболист, один из могикан, шагнувших в большой спорт с дворовых площадок Абельмановки.

* * *

В те же первые дни моей студенческой адаптации на дневном отделении исторического факультета я был вовлечен в занятия стрелковой секции спортклуба. Спортивного пристрастия к этому виду я давно уже не испытывал, так как за долгие годы службы в армии умение владеть оружием и метко стрелять не только из винтовки стало для меня профессией. Теперь ей суждено было отступить в прошлое. Но совсем не так думал наш курсовой председатель бюро ДОСААФ. Буквально на второй день занятий в перерыве между лекциями ко мне подошел очень серьезного вида, я бы сказал озабоченный, толстый, с курчавой золотистой шевелюрой мальчик, назвавший себя Володей Дробижевым. Он очень коротко сообщил мне, что и в университете, и на нашем факультете, на нашем курсе большое внимание уделяется оборонным видам спорта. И дальше, не тратя драгоценного времени короткого перерыва, необходимого ему для перекура, он строго и вежливо спросил у меня, не мог бы я принять участие в курсовых соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки. Категорически обязывающий тон этого вежливого предложения исключал отказ. Я согласился, и в тот же день после занятий Володя повел меня в тир Министерства высшего образования, который находился в подвале одного из его помещений на Трубной площади. Так началась моя дружба с этим строгим и деловым, толстым и курчавым мальчиком, который, однако, оказался курильщиком с многолетним стажем. С того дня она продолжалась до самой его кончины в 1989 году.

Стрелковый спорт в университете меня не увлек. Я принял участие в соревнованиях между группами курса, показал приличный результат в стандарте из трех положений (в каждом более сорока очков из пятидесяти). Но оказалось, что я стреляю не по спортивным правилам. Володя взялся было меня учить, но я сказал ему, что учиться стрелять мне уже поздно, но если еще потребуются защищать честь нашего курса, то я буду всегда готов повторить показанный результат. Между прочим, я сообщил ему, что в армии я выполнял в стрельбе из боевой винтовки норму первого разряда и мог прилично стрелять из станкового пулемета и противотанковой пушки. Строгий председатель курсовой организации ДОСААФ больше неволивать меня не стал, убедившись в безнадежности меня переучить, тем более что на нашем курсе появились более обнадеживающие в стрелковом спорте таланты среди девушек. Особенно успешно отличалась в этом деле Клара Замидченко из дружной группы нашего курса, специализировавшаяся по кафедре истории южных и западных славян. А на других курсах истфака тогда

были спортсменки, которые участвовали в этом виде спорта на общесоюзных соревнованиях на уровне мастеров. Мне запомнились две фамилии – Богданова и Вайнберг. Вторая сумела стать чемпионкой СССР. И кажется, даже чемпионом мира несколько раз становился наш истфаковец Юрий Шведов. Куда ж мне было состязаться с ними!

Так я входил в новую для меня жизнь, о которой я мечтал солдатскими вечерами, с завистью глядя из окна нашей казармы на Красноказарменной улице, по которой, возвращаясь с занятий, проходила оживленная вереница студентов Энергетического института. Наконец и я вошел в нее. Но скоро оказалось, что, чтобы стать полноправным участником студенческого общежития, было недостаточно моей солдатской самоуверенности и осознания завоеванного права на свое место в жизни его коллектива. Он состоял уже из незнакомого нам, не старым еще ветеранам войны, подросшего уже в послевоенные годы поколения, успевшего узнать много из опыта мирной жизни, того, чего не давала нам увидеть война и долгая послевоенная солдатская служба. Нас на войне учили быть впереди. Для этого было достаточно силы, ловкости и, конечно, способности преодолеть страх. Чтобы не отставать в университете, надо было обрести иные качества, нужен был иной труд, совсем непохожий на простое усердие, иные критерии в выборе линии поведения и в оценке своих решений и поступков. Войдя в студенческое сообщество, надо было узнать и понять его традиции и неписанные правила жизни. Она в те послевоенные годы не только в студенческой среде, но и во всей стране, во всех ее общественных и производственных коллективах проходила организованно, под руководством сверху донизу партийных, профсоюзных и комсомольских комитетов. Никому тогда невозможно было оказаться вне общественных обязанностей. И конечно, каждый член советского общества понимал и выполнял их в меру своих убеждений, своей личной ответственности, собственного понимания гражданского долга. Заботой же руководящих комитетов была организация политико-воспитательной работы в коллективах, облегчавшей правильное понимание гражданских и общественных обязанностей, их соответствия интересам и жизненным целям граждан. В Московском университете на всех его факультетах и во всех подразделениях приоритет в руководстве учебной, научной, административно-хозяйственной деятельностью и общественно-политической жизнью всего коллектива принадлежал семитысячной партийной организации и ее парткому, в состав которого избирались крупные ученые, авторитетные профессора и доценты, представители студенчества и многочисленного коллектива рабочих и служащих, обеспечивающих учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность кафедр и лабораторий. Приоритет партийной организации в руководстве деятельностью университета был сопряжен с ее главной ответственностью за морально-политическое состояние коллектива, за выполнение им общественных и государственных обязанностей. Теперь в университете партийной организации коммунистов нет. Его жизнь организуется на новых принципах «демократизированного» государства и общества. О том, что мы все в результате потеряли или приобрели, расскажут другие свидетели, очевидцы и участники новой жизни. Я же, став в 1950 году членом партийной организации коммунистов МГУ и прожив с ней более сорока лет, свидетельствую, что видел и ценил ее успехи и заслуги в решении проблем развития университета, и считаю себя ответственным за ее неудачи в руководстве сложным и многочисленным коллективом ученых, сотрудников и студентов.

До переезда МГУ на новое местоположение на Ленинских горах его партийная организация в Москве входила в состав Краснопресненского райкома ВКП(б). Сюда после демобилизации я и был поставлен на учет. После этого по установленному порядку я был поставлен на учет в парткоме университета и в партийном бюро исторического факультета. Секретарем парткома МГУ тогда был ученый-биолог Михаил Алексеевич Прокофьев, а секретарем партбюро истфака – студент пятого курса Павел Волобуев. Оба они были участниками войны. Первый после ее окончания возвратился в МГУ на биологический факультет к своим доцентским обязанностям, а второй, выписавшись из госпиталя еще до окончания войны, поступил студентом на

первый курс истфака. Вообще с конца сороковых и не одно десятилетие после них фронтовики занимали ответственные посты во всех звеньях руководства в университете – и в административных, и научно-учебных, и общественных. Они еще оставались достаточно молодыми, ветеранами их не называли: слово это еще не вошло в послевоенный лексикон. Руководящие посты доверяли им не за воинские заслуги, и они не сулили им каких-либо привилегий, кроме ответственности за общественное руководство университетом. В это время полным ходом шло строительство новых учебных, научных и административных корпусов на Ленинских горах. Фронтальная солидарность была заметным и важным фактором общественной жизни на всех факультетах. И у нас на истфаке коммунисты-фронтовики были представлены большинством и в партийном, и в комсомольском бюро, и в профкоме, и в деканате. Я почувствовал их участливое внимание к себе, как только стал истфаковцем.

На партийный учет на факультете меня принимал тоже фронтовик, член партбюро, студент пятого курса Алексей Леонтьев. Происходило это в один из дней начала апреля. На улице уже стояла теплая погода, а этот студент-дипломник сидел в кабинете партбюро почему-то в сером еще довоенных времен прорезиненном плаще. Только потом я узнал, что плащ он не снимал, чтобы не обнаружить под ним ветхой своей рубашки. В тот пятидесятый год Леша Леонтьев заканчивал университет по кафедре истории СССР, специализируясь по одной из сложных научных проблем российского феодализма. Ясна была уже тогда перспектива его дальнейшей учебы в аспирантуре и последующая известность ученого-историка. Но за все это ему пришлось заплатить здоровьем. Такой оказалась привилегия фронтовика. В самом расцвете своего научного таланта он исчерпал свои физические силы, недоедая и недосыпая, не долечиваясь.

Формальная процедура постановки на учет прошла как задушевная беседа бывалых солдат. Леша с участием и вниманием старшего – он был на два-три года старше меня – расспросил меня о моей службе, моих намерениях, предупредил о неведомых мне трудностях учебы и студенческой жизни, пожелал искренне успехов и рассказал о факультете, о кафедрах, о преподавателях и о наших факультетских коммунистах. Я узнал, что на факультете тогда их было более двухсот человек – студентов, аспирантов и преподавателей, что значительная часть фронтовиков-студентов сосредоточилась на старших курсах. Тогда их основная послевоенная волна была уже на спаде. На двух младших курсах – первом и втором – их набралось значительно меньше. «Поэтому, – добавил он, – тебе и твоим товарищам по курсу будет труднее руководить коллективом в триста человек». Столько тогда было студентов на нашем первом курсе. Тонем старшего товарища он напутствовал меня для активного участия в общественной жизни коллектива и предупредил, что авторитет среди своих сокурсников я смогу завоевать только добросовестной учебой и высокими показателями на экзаменах. «Других путей завоевания доверия нефронтальной молодежи, – закончил он, – в университете нет!» В том же апреле я участвовал в первом партийном собрании нашего курса. Разговор тогда шел о подготовке к экзаменационной сессии и о задачах каждого из нас по обеспечению и в личном, и в общественном плане успешного ее прохождения.

Всего до моего появления на курсе было четырнадцать студентов-коммунистов, я оказался пятнадцатым. С некоторыми из этой гвардии я успел познакомиться в первый день встречи с курсом, но теперь я представляю всех снова: парторгом курса была фронтовичка Евгения Петровна Калинина. В этой общественной должности она оставалась все пять лет учебы. В учебе она была несильна, но экзаменационные оценки у нее были достаточно высокие. Преподаватели старались тройками не подвергать сомнению ее положение партийного лидера. Справедливости ради скажу, науку она стремилась постичь добросовестным трудом и высокой дисциплиной. Учиться ей было труднее, чем сокурсникам. Ее доуниверситетская общеобразовательная подготовка была ниже, чем у подростка за время войны поколения. А кроме учебы, надо было еще где-то подрабатывать на жизнь. Все пять лет учебы Евгения Петровна проходила

в пальто, перешитом из шинели. А где-то в деревне у родителей воспитывалась принесенная с войны дочь. При всех этих обстоятельствах никто из сокурсников-партийцев не смог оспорить ее права быть лидером в общественной работе, которой она отдавала много сил и времени.

В таком же положении оказался среди однокурсников и Иван Иванович Иващенко – староста нашего курса. Особенности его характера – личная скромность, полное отсутствие партийной амбициозности и заявок на какие-либо привилегии не только у преподавателей, но и среди своих молодых товарищей – обеспечивали ему гораздо больше уважения, чем парт-оргу. Был он прост и дружелюбен в компании, хорошо играл на гитаре и с душой пел украинские и русские песни. Жил на стипендию и пенсию. К ним еще и подрабатывал на разгрузке овощных вагонов. Специализацию себе выбрал очень трудоемкую – историю Средних веков. Вгрызлся в нее с невероятным упорством. Сумел овладеть латынью. После окончания учебы был рекомендован в аспирантуру, а после нее работал преподавателем в пединституте. Иногда он приезжал в Москву, и мы не отказывали ему в дружеской встрече. Но здоровья ему хватило ненадолго, чтобы воспользоваться достигнутым успехом и в моральном, и в материальном отношении. В середине шестидесятых он умер.

Сергей Петрович Шепелев на войне был механиком-водителем танка Т-34. На своем боевом пути до Берлина он сменил восемь машин. На восьмой тридцатьчетвертке въехал в Берлин, доехал до Рейхстага и расписался своим каллиграфическим почерком на одной из колонн, сообщив, что приехал сюда из города славных русских стекловаров и художников-стеклодувов Гусь-Хрустального. Очень интересно он рассказывал однокурсникам о форсировании реки Одер еще до начала Висло-Одерской фронтовой операции и об удержании в течение нескольких дней малыми силами отвоеванного у фашистов плацдарма площадью полтора на полтора километра. Весь рассказ состоял из нескольких фраз с русскими образными восклицаниями о том, как он въехал на понтон на одном берегу и съехал с него на другом и как в течение дней, которые не успел сосчитать, вместе с небольшой группой пехотинцев не отступил перед контратакующими фрицами, потому что сзади оставалась река Одер, а понтона-то уже не было – не на чем было плыть назад. Однажды, делаясь такими образными воспоминаниями в кругу бывших старослужащих сокурсников, Серега услышал подтверждение правдивости своего рассказа от бывшего лейтенанта Глеба Бауэра, который, как оказалось, на том же плацдарме командовал взводом пехотинцев, приплывших сюда на подручных средствах. Оба плацдармника несказанно обрадовались встрече и потом долго напоминали друг другу все теми же образными восклицаниями детали той многосуточной смертельной круговерти. Дальше с удержанного плацдарма Серега поехал в Берлин, а Глеб Бауэр был эвакуирован в госпиталь. И еще танкист любил рассказывать, как сам командующий танковой армией генерал-полковник Новиков обласкал его палкой за то, что он чуть было не врезался в его автомобиль на трофейном мотоцикле в один из первых дней после Победы в Берлине. Сергей, раздобыв этот мотоцикл, спешил тогда с трофейным коньяком к ожидавшим его друзьям, но вернулся к ним отечески наказанным генералом и без трофеев. Об этой встрече тогда Серега радостно сообщил своим боевым товарищам. Может быть, и приврал он чего-нибудь в этой истории? Может быть, не на генерала Новикова, отца нашего однокурсника Левы Новикова, налетел он тогда на своем трофейном BMW? Но в мотоцикл, коньяк и палку, если не генерала, то хотя бы полковника, я верю. Все это могло иметь место. После войны старшина Шепелев, как и я, закончил десятый класс в школе рабочей молодежи. В учебный процесс в университете бывший механик-водитель втянулся легко. Видимо, Бог дал ему больше других в способностях постижения науки, и их он не растерял на войне. Конечно, отличником он сразу не стал: слишком «на равных» пытался разговаривать с экзаменаторами, особенно – по общественным наукам. Мы с ним подружились не сразу. Некоторое время меж нами возникло соперничество по поводу понимания некоторых проблем нашей курсовой общественной жизни. Но солдатская солидарность оказалась сильнее этих мелочей. Раза два-три мы посидели с ним за солдатской

нормой, попели, покурили, повспоминали и поняли, наконец, что мы совсем неплохие парни. Дружба наша солдатская и студенческая солидарность не иссякла до сих пор. После окончания университета безвыездно живет он в Костроме. Семья его состоит уже из двух сыновей, двух невесток и множества внуков и правнуков и, конечно же, из его супруги с красивым именем Нирса. Сначала несколько лет он работал доцентом на кафедре истории в костромском сельхозинституте. Потом до выхода на пенсию заведовал Отделом культуры и образования в обкоме КПСС. Мудрым среди нас он был человеком. Недаром друзья на нашем курсе прозвали его Хоттабычем. А мы с ним друг друга с тех пор именуем «старой калошей». Он мне регулярно ко всем праздникам присылает поздравительные открытки с пожеланиями, написанными красивым почерком, а я в ответ звоню по телефону. Почему-то в это лето в день его рождения я не сумел дозвониться. Телефон его не отвечал в течение нескольких дней. Я стал бояться повторять свои попытки. Серега ежегодно по два-три раза оказывался в госпитале. Старые раны (одна – в позвоночник) здорово его подсогнули. Однако он все-таки поскрипывал, но не расставался с активной деятельностью в костромском Совете ветеранов. А может, еще скрипит, подумал я и позвонил. К моей радости и тогда, и теперь он отвечает мне живым голосом.

Из нас, «старослужащих», самым старослужащим был, наверное, Балоглан-оглы Гусейнов – участник обороны Ленинграда, бывший заместитель командира стрелкового батальона. Он сначала и до конца воевал на Северо-Западном фронте до полного снятия блокады и вместе со своим батальоном прошел после этого торжественным маршем по Невскому проспекту, прежде чем отправился дальше – на Берлин. Вместе с орденами и медалями в конце войны он получил и инвалидность. Блокада не прошла ему даром. Только пышные черные усы свидетельствовали о том, что был когда-то замкомбата неотразимым для женского взора и сердца молодцом. Вместо волос на его голове оставался какой-то редкорастущий мох или пух. Балоглан еще до войны стал кадровым офицером, а после нее, как только был уволен в отставку, оказался без гражданской профессии. В МГУ он поступил на заслуженных льготных условиях, вне конкурса, а специализироваться решил на отделении истории Востока. Он полагал, что освоению этой специализации ему поможет родной азербайджанский язык. Но учеба на этом отделении оказалась для него непосильной. Знание родного языка, хотя и родственного турецкому, не дало ему никаких преимуществ. Надо было наверстывать большие пробелы в общеобразовательных дисциплинах. Сразу образовались хвосты, и герой-защитник Ленинграда, отважный замкомбата превратился в отстающего студента. С отделения Востока он вынужден был перейти по специализации на кафедру истории СССР. Но и там его преследовали академические трудности и задолженности. К тому же он не имел никакой материальной поддержки. Не было у него ни родителей, ни добрых и состоятельных родственников. Жил он только на стипендию и небольшую инвалидную пенсию. Правда, не оставляли без помощи его молодые сокурсники, земляки-азербайджанцы. Благодаря им голодным он оставался не каждый день. Но гардероб его все годы учебы оставался бессменно фронтовым, офицерским. И все же, несмотря на все невзгоды в жизни и неудачи в учебе, Балоглан никогда не терял в себе уверенности их преодолеть и имел репутацию добродушного человека и остроумного юмориста. Его соседи по общежитию на Стромынке в знак уважения к заслуженному ветерану-фронтовику, за пышные черные его усы и шрам от уха через всю щеку, полученный им от ножевого ранения в Сокольническом парке от ревнивца-мужа соблазненной молодой особы, присвоили ему звание генерала. Все так и обращались к нему: «Генерал!» Когда он много лет спустя после окончания университета приехал в Москву и пришел ко мне в музей, я громко приветствовал его: «Здравия желаю, товарищ генерал!» Все, кто присутствовал в приемной дирекции, приняли его за настоящего отставного ветерана-генерала.

Несмотря на все трудности, университетскую учебу Балоглан закончил успешно. На пятом курсе он женился на москвичке. Я был вместе с его земляками на свадьбе. Жена его жила где-то на Таганке, в маленькой комнате коммунальной квартиры. Было очень тесно и

весело за маленьким столом. До конца учебы жена одарила его сыном. Но родной Азербайджан почему-то не принял своего сына, героя Ленинградской блокады. Не нашлось ему там места, и со своей семьей Балоглан уехал в Среднюю Азию. Там он прожил до смерти своей жены, работая директором профтехучилища. В Баку он вернулся один уже в семидесятые годы. Видимо, сын его к этому времени нашел свой путь в жизни. Больше Балоглана-оглы Гусейнова я не видел со времени нашей встречи в 1979 году. Если он жив, то ему, наверное, уже давно перевалило за восемьдесят.

На отделении истории стран Востока учились еще двое наших однокурсников партийцев-фронтовиков. И оба они не выдержали языковой нагрузки. Обоим оказалось не под силу овладение и восточными, и западноевропейскими языками. Да и по остальным наукам оба не особенно преуспевали. Со второго курса эти неудачники так же, как и Балоглан Гусейнов, перешли на кафедру истории КПСС. Одним из них был Николай Овчинников, офицер-отставник, инвалид войны, отмеченный несколькими орденами и нашивками о ранениях. Был он молчалив. О своих боях-походах не рассказывал. Жил с семьей где-то в Химках. В общественной жизни активности не проявлял. Очень скромно выглядел этот фронтовик, может быть, оттого что учеба давалась ему труднее чем другим. Сессии он сдавал с переэкзаменовками. Орденов и орденских планок он не носил и преподавателям не подавал повода на какое-либо снисхождение. Не очень милосердный наш комсомольский студенческий актив, не понимая, видимо, причин неудач Николая, определил его в число неуспевающих по нерадению и критиковал за то, что он, как фронтовик-коммунист, не подавал примера молодым. Коля отмалчивался и все-таки продолжал тянуть свою ляжку. У этого офицера-фронтовика тоже не было гражданской профессии. Ему нужно было ее найти. А для этого он считал необходимым получить высшее образование. В конце концов он эту задачу решил и вместе с нами закончил учебу в университете, получил диплом и со свободным распределением был принят на работу в центр культуры и просвещения Москворецкого района Москвы. Во время уже начавшейся перестройки я однажды случайно встретился с ним на улице. Коля меня не узнал. Пришлось называться. Он вроде бы даже обрадовался. Однако, как и прежде, оставался немногословным. Рассказал, что перед уходом на пенсию работал в Доме политпросвета горкома КПСС, а теперь отдыхает на садовом участке. На жизнь Коля не жаловался. Детей вырастил, а внуки уже подрастали при взрослых родителях. Наш разговор и встреча не затянулись. Постояли, поговорили и разошлись. Телефонными не обменялись. Разошлись со своими одинаковыми заботами.

А Анатолий Смирнов, тоже инвалид войны, партизанил в белорусских лесах в свои неполные шестнадцать лет. Партизанил с первых дней фашистской оккупации вместе со своими деревенскими сверстниками и старшими соседями до полного окончания войны в своей республике. Его ранения и ограниченная годность к боевой службе не помешали ему до конца оставаться в отряде. Выйдя из леса, он, однако, для дальнейшей воинской службы оказался непригоден. Вернулся в разоренную деревню. Работал в колхозе и учился. Образование-то его с довоенных времен оставалось неполным средним. Только в 1949 году оно стало полным, и Толя без всяких льгот поступил учиться в наш Московский университет. У него тоже были и ордена, и медали, но из-за образовательных пробелов они не обеспечивали никакого снисхождения со стороны экзаменаторов и комсомольцев – борцов за высокую успеваемость на нашем курсе. Орденов-то и медалей в те годы мы, фронтовики, не носили. Считалось даже неудобным выставлять напоказ свои заслуги.

Нашими воспоминаниями о фронтовой жизни и тем более о наших заслугах однокурсницы, можно сказать, не интересовались. Для этого им было достаточно воспоминаний своих отцов, братьев. Всех их опалила война, если не взрывами бомб и снарядов, то уж точно и холодом, и голодом, и долгим ожиданием, и надеждами. В те студенческие времена и мы, фронтовики, и наши сокурсники, которых война не успела втянуть в боевой водоворот, считали наше участие в войне само собой разумеющейся обязанностью и исполнением долга. Более того,

мы, фронтовики, были уверены, что если бы подошла очередь, то наши младшие товарищи сделали бы то же и не хуже нас. Вот так получилось, что в учебе перед ее трудностями мы оказались в равном положении ответственности, хотя и не с одинаковыми возможностями. Забывали, однако, наши сокурсники (особенно девушки), что мы не могли и не имели права рассчитывать на помощь со стороны наших родителей, которые в сороковые и пятидесятые годы уже стали стариками-пенсионерами и сами ожидали помощи от нас. Комсомольские вожаки курса были очень взыскательны к нашим академическим неудачам. В группах даже возникали иногда конфликтные ситуации на комсомольских собраниях при обсуждении итогов экзаменационных сессий. Под нелюбезную критику попадали фронтовики. Наши младшие товарищи в своем общественном рвении за честь коллектива по наивному неразумению стыдили и попрекали неудачников-орденоносцев их же наградами. Но мы такие конфликты преодолевали собственными усилиями – к этому мы были натренированы опытом жизни и гораздо чаще справлялись со своими трудностями, чем многие из молодых, попадавших в сложную ситуацию академических задолженностей и переэкзаменовок. В нашем гвардейском содружестве поэтому никто не прекращал борьбы с трудностями, и никто «не выпадал из седла», не «отсеялся» в процессе всех пяти лет учебы. И Толя Смирнов, сельский паренек из белорусской деревни, бывший партизан из Полесья, инвалид войны, успешно завершил полный университетский курс. На распределении, имея свободу выбора, он попросил направить его в Казахстан, в русский город Гурьев, на Каспий. Там ему помогли обосноваться родители его друга Сережи Сундетова. Их дружба продолжалась все университетские годы. Теперь уже нет в живых ни того, ни другого.

Представлю теперь Сашу – Александра Семеновича Ерастова. Его студенческая жизнь и учеба начиналась и проходила также трудно. Мы оказались с ним в одной группе. По его инициативе состоялось мое знакомство с университетским общежитием на Стромынке. О необыкновенной стромынской студенческой солидарности, жизни и быте я уже был наслышан, и мне захотелось увидеть ее самому. По старой солдатской привычке к казарменному общежитию меня потянуло на Стромынку, и Саша однажды пригласил меня туда на вечер отдыха в клубе. Там должны были собраться и наши однокурсники. Предполагались танцы. Мой новый товарищ обещал обеспечить на этот случай ночевку. Он как-то сумел провести меня в общежитие мимо бдительной вахтерши без пропуска. Надо сказать, что эта маленькая и цепкая женщина была неумолима на своем посту. Она умела пресечь попытки нарушителей режима проникнуть через ее пост даже самым изощренным обманом. Мимо ее невозможно было пройти с чужим пропуском. Она все видела, всех узнавала и чужеземца вычисляла сразу своим особым чутьем. Сразу хватала за руку, и отцепиться от нее было невозможно. На ее голос появлялся дежурный из пропускной будки с окошечком. Начинался скандал, который всегда заканчивался суровыми последствиями для «проходимца» и его товарища, одолжившего ему свой пропуск. До сих пор помню эту неукротимую до собачей злости маленькую женщину. Все нарушители предпочитали не иметь с ней дела и проникали в общежитие через окна первого этажа. Но Саша, видимо, сумел завести с ней добрые отношения. Что-то он ей шепнул. Она кивнула, и мы прошли беспрепятственно. На ночевку в тот вечер мой друг устроил меня в комнате своего старшего брата, который, как оказалось, в тот год заканчивал пятый курс филологического факультета. Тогда же я узнал, что старший брат был главной причиной того, что младший тоже стал студентом университета. Он убедил его в возможности поступления, помог поступить и помогал в преодолении трудностей и в жизни, и в учебе. Младший шел за старшим. Оба они приехали в Москву на учебу, пройдя войну, из какого-то района Воронежской области.

Старший Ерастов приветливо встретил меня с Сашей в своей шестиместной комнате и устроил на ночлег на койке уехавшего домой соседа. После этого случая я с его старшим братом больше не встречался. В том году он закончил университет и уехал по распределению на работу в сельскую школу. Династия братьев Ерастовых вслед за нашим Сашей, однако, полу-

чила продолжение. На наш же истфак в 1950 году поступил на первый курс Виктор Ерастов, только что отслуживший в Советской Армии. Все заботы о нем теперь принял на себя наш Саша. У младшего дела с учебой пошли тоже очень туго, и старший помогал ему изо всех сил, как мог и чем мог. А возможностей для этого у него было совсем немного. Он еще сам не доносил своего солдатского обмундирования, и его младший брат Виктор также обречен был донашивать свою шинель до полной победы над университетской исторической наукой. Дружба и забота друг о друге братьев Ерастовых не могла не вызвать к ним уважения сокурсников. И тем неприятнее было узнать, что после окончания учебы младший брат расплатился со старшим черной и отвратительной неблагодарностью в какой-то внутрисемейной распре.

Сам Александр Семенович Ерастов после войны, а он ее прошел до конца, в истории и в Московский университет подался не сразу. Сначала он поступил на юридические курсы в Воронеже и, закончив их, через год стал народным судьей в одном из районных судов. Судьи тогда были в дефиците. Их особенно стало не хватать, когда вышел указ Верховного Совета о строгих мерах наказания граждан за мелкие хищения государственной и общественной собственности.

На неопытного, неготового к вынесению суровых приговоров фронтовика навалилась куча уголовных дел по мелким преступлениям, совершенных многими гражданами в обстановке безысходной послевоенной разрухи и нужды. Их приходилось рассматривать в экстренном порядке, каждый день и не по одному делу. Саша нам рассказывал, что рассмотрение таких дел и вынесение неизбежных суровых приговоров явилось для него жесточайшей пыткой. Он не вынес ее и расстался с карьерой судьи и со всей юриспруденцией. После этого старший брат помог ему поступить в МГУ. А все остальное у него на протяжении пяти лет учебы шло так же, как и у наших всех сокурсников-партийцев. После окончания университета до сих пор он работает заведующим библиотекой Московского авиационного института. Саша по праздникам звонит мне по телефону и желает доброго здоровья. Я принимаю это пожелание и знаю, что оно идет от его доброго сердца.

Бедствуя, училась с нами фронтовичка и наш партийный товарищ Юля Арбекова. Отчество ее было, кажется, Васильевна. Среди нас она была не только самая бедная, но еще больше всех больная и одинокая. Помощи, кроме пенсии и стипендии, она не получала никакой. В учебе она была в нашей группе самой слабой. Пожалуй, ей одной только из всех бывших солдат войны оказывалось на экзаменах некоторое снисхождение со стороны преподавателей. Но с некоторых пор ею стали интересоваться товарищи из спецорганов. Один такой представитель обратился однажды в партийное бюро факультета и попросил оказать ей особое внимание. Оказалось, что Юля регулярно посылала письма товарищу Сталину и объяснялась ему в верности и как вождю, и как мужчине. Она настойчиво объяснялась ему в любви и вызывала этим сильное раздражение со стороны службы охраны вождя. Один из офицеров в звании полковника неоднократно беседовал с влюбленной Юлей, пытаясь убедить ее в абсурдности бесконечных письменных признаний. Но Юля упорно повторяла свое. Встал вопрос о помещении ее в психиатрическую больницу, но как-то обошлось без этого. С одной стороны, видимо, подействовали все-таки беседы полковника и что-то она оказалась способной понять.

А с другой стороны, в результате этих бесед у нее вспыхнуло чувство любви к самому этому полковнику и она стала теперь писать письма ему. Продолжалось это домогательство довольно долго. Нас, ее товарищей, просили как-то отвлечь ее от навязчивых признаний. Мы с ней беседовали, она слушала нас, молчала, не возражала, продолжая писать полковнику. И опять прошло все само собой. Вместе с нами, хотя и с трудом, Юля переходила с курса на курс и вместе с нами закончила учебу, получила диплом и на распределении выбрала себе направление на работу в качестве научного сотрудника музея М. И. Калинина в селе Троицком Калининской области. А под конец учебы наша сокурсница и фронтовая подруга еще раз удивила нас совершенно неожиданным поступком. Она забеременела. Гадать и выяснять, как

все это произошло, она нам времени не оставила. Готовясь стать матерью, она раньше всех сумела защитить диплом и уехала из Москвы на назначенное место работы. Однако жизнь так и не одарила ее счастьем. Кто-то из студентов, тоже распределенных на работу в Калининскую область, рассказал кому-то из однокурсников москвичей печальную историю нашей Юлии Васильевны Арбековой. Ребенок ее, родившийся в селе Троицком, прожил недолго. От жестокой простуды он заболел и помер. А мать тоже оказалась в больнице. Вышла ли она из нее живой и здоровой, никто не знает.

Рассказ о наших курсовых фронтовиках, членах курсовой партячейки я завершу сохранившимися воспоминаниями о Викторе Евсееве. С ним мы были одногодки. По отчеству он был Павловичем. Но все мы звали его Витьком. Ростом он был невысок, комплекцией – плотненький и ладненький, лицом – улыбчив, нравом – весел и добродушен, – Витек, да и только. А золотая коронка на одном из его передних зубов, всегда сверкающая, когда он улыбался, придавала ему вид бывалости и лукавства. Любил Витек шутить, иногда, не унижая, посмеиваться над товарищами и весело, с юмором, принимать шутки и розыгрыши в свой адрес. Было нетрудно, глядя на него, одетого в штатское, представить его в образе бывшего ефрейтора. А на войне, как оказалось, он и был в этом звании. Наш общий фронтовой товарищ Сергей Шепелев, который умел хорошо рисовать, однажды очень быстро воспроизвел его образ карандашом в слегка шаржированном виде бравого ефрейтора, в шапке, лихо сбитой набекрень. Всю войну Виктор прошел вместе со своими родителями. Отец его был редактором армейской многотиражки, при редакции которой проходила службу и его жена. А их сын, ефрейтор Евсеев, находился в одном из подразделений штаба дивизии. Так, выполняя свой боевой воинский долг, семья Евсеевых дошла до венгерского озера Балатон и пережила суровую круговерть знаменитого сражения, которое развернулось вокруг этого озера в конце 1944 – начале 1945 года. После победы вся семья демобилизовалась и поселилась на постоянное жительство в подмосковном дачном поселке Никольское. Отец нашего товарища много лет работал редактором балашихинской районной многотиражки, а мать уже больше нигде не служила. Ефрейтор завершил в вечерней школе свое образование и поступил в МГУ. Тут мы все и встретились – на одном курсе и в одной партгруппе.

Студентом бывший ефрейтор стал благополучным, вполне успевающим и свою вторую жизненную задачу решил успешно. С ним вместе мы и дальше продолжали учебу в аспирантуре. Не очень гладко мы ее завершили. В жизни нашей страны и КПСС после смерти И. В. Сталина произошли перемены, прежде всего в области идеологии. А учились мы на кафедре истории КПСС. Пришлось нам в соответствии с решением ЦК КПСС о разоблачении культа личности корректировать подходы к своим исследовательским проблемам. И в срок свои диссертационные работы нам защитить не удалось. По окончании срока учебы в аспирантуре я был оставлен на кафедре в должности ассистента, а Виктору пришлось искать работу в Балашихе, в районном парткабинете. Случилось так, что по прошествии нескольких лет мне, как заместителю секретаря парткома МГУ, удалось поспособствовать другу вернуться в университет. Работая инструктором парткома МГУ, он сумел завершить работу над диссертацией и защитить ее. Много лет он потом работал доцентом на общеуниверситетской кафедре истории КПСС. Незадолго до своей преждевременной кончины Виктор Павлович Евсеев перешел из университета на одноименную кафедру Московского полиграфического института. У своих родителей он был единственным сыном. А после себя фронтовик оставил двух сыновей и успел стать дедом. Вот так он, безвременно уйдя из жизни, решил все свои определенные ему судьбой общественные и гражданские долг и задачи.

Нашей «гвардейской фронтовой» и партийной группе надлежало по неписанным правилам и по сложившейся в те далекие годы традиции стать политически организационным авангардом студенческого коллектива нашего курса. В ее состав входили еще несколько человек из успевшей подрасти молодежи другого, не нашего, не фронтового поколения. Они успели

буквально со школьной скамьи вместе с аттестатами зрелости получить и карточки кандидатов в члены ВКП(б). Ко времени моего присоединения к гвардейцам-фронтовикам на курсе успела обозначить себя решительной партийной активисткой Светлана Сергиенко, симпатичная девушка, украинка из города Николаева. До поступления в МГУ она уже имела небольшой трудовой стаж. Это вместе с отличными показателями в учебе давало ей право выглядеть старшей по отношению к ее почти ровесницам. Она была избрана в комсомольский комитет курса, ответственной за идеологический участок работы.

А вчерашние десятиклассники, тоже кандидаты в члены ВКП(б) Юрий Воскресенский и Юрий Суворов поступили в университет как золотые медалисты. Но среди других медалистов они тоже успели обратить на себя внимание партийного руководства факультета своей высокой политической активностью и сразу были рекомендованы в тот же, что и Света, руководящий комсомольский орган. Оба Юры в течение всех пяти лет так же, как и в школе, оставались отличниками. Оба они перевыполняли норму по курсовым письменным сочинениям. Всем было положено выполнять ее в одном просеминаре, а они писали ее в двух. Юру Воскресенского и Юру Суворова отличало только то, что первый был из пролетарской Тулы, а второй тоже из пролетарского Ярославля. И тот и другой уже в детстве были замечены и отмечены как примерные школьники и активисты.

Трое других кандидатов в члены ВКП(б) были молодыми парнями с колхозным стажем работы в год-два после окончания средней школы. Они же представляли у нас братские народы республик. Темир Болат Сакиев, осетин, был родом из большого села Дарг-Кох под Владикавказом. Мне оно запомнилось по моему боевому пути на Северном Кавказе. Рядом с этим селом по реке Змейке растянулась большая казачья станица Змейская. А между ними и двумя сопками Кавказского предгорья стояли коротким ущельем Эльхотовские ворота. В 1942 году здесь шли большие и упорные бои за осетинскую столицу и русский город Владикавказ. Темиру тогда было, наверное, лет восемь-девять, а судьбе угодно было познакомить нас в 1950 году на историческом факультете. Мы оказались сокурсниками из одной академической группы и одной парторганизации. Русским языком он владел хорошо и учился успешно, был активным и принципиальным товарищем в критике любого из нас за малейшие отступления от ортодоксальных положений теории и политики. Другой наш товарищ с Кавказа грузин Ингуш Толорая по-русски говорил не очень свободно, и учиться ему было труднее. Когда я знакомился с ним и услышал его фамилию, то вспомнил, что в нашем истребительном мотострелковом полку комсоргом был Николай Толорая. Ингуш оказался его родственником. Было отчего удивиться. Племянник моего однополчанина стал моим соратником и по учебе, и по нашим партийным обязанностям.

Нашим соратником по партии оказался и Михаил Гуменный, недавний колхозник из молдавского села. Родом он был из деревни в северной Молдавии, находившейся неподалеку от местечка и одноименной железнодорожной станции Окница. Возвращаясь с каникул, он привозил и угощал нас молдавским виноградом и вином. По-русски он говорил хорошо, но учился тоже с трудом. Большая у него была разница с сокурсниками в школьной подготовке. Миша был очень веселым, подвижным и добросердечным парнем. Но больше всего он нас удивлял своими успехами у девушек. Правда, с однокурсницами он не амурничал, но успешно находил себе подружек в окрестностях стромынского общежития.

Вот такая у нас на курсе собралась партийная прослойка. На третьем курсе она пополнилась перешедшими на дневное отделение с заочного уволившимся со сверхсрочной службы старшиной – авиационным механиком Иваном Васильевичем Созиным и Игорем Филипповичем Головачевым, тоже участниками войны. Последний выглядел старше нас всех. Своим взрослым и интеллигентным видом он как-то выпадал из нашего значительно более молодого коллектива бывших солдат и сержантов. Он был похож на учителя. Может быть, он и был им. Наше поведение он обычно оценивал по-учительски назидательно. Поэтому мы все сразу

стали называть его по имени и отчеству. Скоро он удивил нас тем, что на семинаре по историческому материализму вступил в спор не только с преподавателем, но и с самим К. Марксом, взяв под сомнение правомерность определения им азиатского способа производства. Сейчас я уже не помню, что именно не удовлетворяло пытливого и амбициозного Игоря Филипповича, как и его доводов, которые он приводил, критикуя классика, но хорошо помню, что руководитель семинара вынес этот спор с учеником за рамки учебной дискуссии. Сам он квалифицировал поведение студента Головачева как попытку ревизовать марксистский исторический материализм. Игоря Филипповича не смутило такое обвинение. Он был упрям и настаивал на своем. Преподаватель апеллировал к студентам-коммунистам. Признаюсь, мы приняли сторону нашего преподавателя-истматчика и решили вынести обсуждение вопроса на партийное собрание. Однако от крайних решений нас уберегли другие преподаватели. Они же уберегли и студента Головачева от ненаучного разбирательства пусть даже и ошибочного его взгляда на сложную теоретическую проблему. На этом примере нам тогда очень своевременно объяснили, что научный семинар и нужен нам для того, чтобы в нем в совместном споре можно было бы добиться самостоятельного творческого понимания закономерностей исторического процесса. Помнится, что свое понимание азиатского способа производства Игорь Филиппович Головачев доказательно изложил в своей дипломной работе. Она была оценена высоким баллом с рекомендацией Совету факультета дать автору возможность продолжить учебу в аспирантуре. Свою научную позицию он успешно защитил в диссертации и был удостоен степени кандидата исторических наук. В то время это был редкий случай, когда исследователь-историк брал на себя смелость подвергнуть сомнению какое-либо из положений или высказываний классиков марксизма. Но после окончания учебы в университете много лет до ухода на пенсию он работал заведующим библиотекой в Химико-технологическом институте имени Менделеева.

Зато бывший фронтовик старшина-сверхсрочник парашютного полка Тульской десантной дивизии Ваня Созин очень быстро вошел в наш общий студенческий и партийный коллектив. Он стал очень уважаем и любим в дружной группе студентов-однокурсников, специализировавшихся по кафедре истории южных и западных славян. Нас всех он удивлял своей феноменальной памятью, особенно в хронологии событий и отечественной, и всемирной истории. В учебе он был абсолютно безупречен и по окончании ее был оставлен в аспирантуре, но диссертации в положенный срок не защитил. Он был увлечен историей средневековой Польши, рано и активно стал публиковать свои научные статьи, в содержании и в исследовательских выводах которых заявил о себе как о состоявшемся ученом. Благодаря им он стал известным специалистом среди польских историков. В последующих статьях он вышел за рамки исследовательских задач своей кандидатской диссертации, и защищать ее ему оказалось некогда. По окончании аспирантуры его пригласили работать в журнале «Вопросы истории» на должность научного редактора. В редакции этого журнала он продолжает работу и по сей день. Очень скоро он был назначен на должность заведующего отделом всеобщей истории, а вот уже более двух десятков лет работает заместителем главного редактора. Товарищи и соратники долго убеждали его защитить кандидатскую диссертацию, опубликовать ее. Он был бесспорно готов к этому формальному для него акту. Но сделал он это только в конце семидесятых годов. Ученый совет исторического факультета в итоге защиты признал и возможным, и необходимым квалифицировать его многолетнее исследование степенью доктора исторических наук и сделал на этот счет свое представление в Высшую аттестационную комиссию. Но своего заявления в ВАК Ваня не подал. По обыкновению он не стал тратить время на такое соискательство.

Будучи по природе добрым человеком, Иван Васильевич помог многим своим однокурсникам и друзьям в непростом деле публикации в своем журнале статей, необходимых для допуска к защите. И многие сделали это намного раньше его самого. Благодаря его поддержке и я стал автором этого главного научного исторического журнала. Своим участием он открыл дорогу в науку и моему младшему сыну. Потенциал глубокой научной эрудиции позволил бы

Ивану Васильевичу достичь больших высот в науке. Я уверен, он мог бы стать академиком, если бы карьерный интерес в жизни был для него главным.

Зато единственным академиком из наших сокурсников-партийцев стал Володя Додонов. На нашем курсе он появился за год до окончания нашей учебы. Был он только что демобилизованным сержантом послевоенного поколения. Все девушки нашего курса сразу обратили внимание на его стройную и подтянутую фигуру спортсмена-гимнаста. Во время своей службы в десантных войсках он поступил на заочное отделение исторического факультета Среднеазиатского университета. Там, в Средней Азии, то ли в Казахстане, то ли в Узбекистане, на руководящей работе в республиканской Академии наук работал его отец – республиканский академик, доктор исторических наук. В 1952 году его перевели в Москву для укрепления руководства в Институте истории СССР союзной Академии наук. С ним приехал в Москву демобилизованный и переведенный для дальнейшей учебы на нашем факультете Володя Додонов. Парнем он оказался свойским, принадлежностью к высокопоставленному отцу не кичился и никаким снисхождением со стороны преподавателей не пользовался. К учебе он относился добросовестно. Положение его отца в главном научном центре страны не дало ему преимуществ при распределении после окончания учебы. На работу его направили референтом в московский Дом ученых, и было невозможно предположить, что с этой скромной должности ему откроется путь на вершины науки. Скоро его перевели на работу в Ленинский райком КПСС на должность инструктора отдела науки и вузов, а потом, через некоторое время, – ответработником в отдел науки горкома и далее – ЦК КПСС. Здесь он работал в секторе, курирующем народное образование, и здесь же обнаружился его «научный и педагогический талант». Без отрыва от ответственной организаторской работы он защитил кандидатскую и докторскую диссертации. После этого Владимир Иванович Додонов был назначен директором Института истории партии при горкоме КПСС и в этой должности был скоро выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты, а потом и в действительные члены Академии педагогических наук. Насколько мне помнится, в университете педагогические проблемы в научном плане его не занимали. Но, может быть, педагогические наклонности проявились в нем на ответственной работе по партийному руководству системой народного просвещения. Они и привели Владимира Ивановича Додонova на высокий академический Олимп.

* * *

На памятном мне партийном собрании в апреле 1950 года, на котором я впервые присутствовал, нами было принято очень строгое – в духе времени – решение, обязывающее каждого из нас подготовиться и сдать летнюю сессию на «хорошо» и «отлично» и этим показать достойный пример всем студентам-комсомольцам. Некомсомольцев у нас тогда было только четверо. Но и они в конце концов были «охвачены» комсомольским вниманием и приняты в ряды ВЛКСМ.

К сожалению, после всех как гром среди ясного неба свалившихся событий конца восьмидесятых – начала девяностых годов XX века, приведших к развалу государства и всей его общественно-политической и экономической системы, слова «комсомол», «комсомолец», «коммунист», «советский гражданин» превратились для подрастающего сегодня поколения российских граждан в устрашающий символ тоталитарного исторического прошлого. А для нас, еще живых его свидетелей, они продолжают звучать воспоминаниями о нашей молодости, о событиях и несбывшихся мечтах и надежде, о друзьях-товарищах, о горячих спорах по поводу идеалов неизбежного, хотя и все еще далекого, труднодоступного общечеловеческого коммунистического счастья, хотя не все у нас в той жизни складывалось гладко и легко, без моральных и физических потерь, без горьких утрат и без унижающих порой человеческое достоинство несправедливостей.

Современная молодежь, слушая нас, удивляется и не верит нам, что в той неустроенной жизни мы помним себя счастливыми и вдохновенными. А сами они нам кажутся поколением, обделенным этим чувством. Руководящими принципами их жизни стали не надежды на будущее, не романтика преодоления трудностей и неурядиц на жизненном пути, а намерение устроить свое благополучие сегодня не в мечтах и спорах о счастливом будущем, а на житейском рынке предпринимательской сообразительностью своего ума, не только с помощью знаний, но и ловкости рук.

Слишком долго мы ждали простого благополучия и устроенности в нашей трудной жизни и не дождались их, чтобы упрекать нынешнюю молодежь за это желание. И все же нам становится тревожно, когда мы видим, как на наших глазах она втягивается в иные интересы и отношения, в которых достоинство человека определяется умением добыть баксы и превратить их в те же баксы, не переживая и не стесняясь от того, что от них дурно пахнет.

С этим чувством тревоги я смотрю на нынешних студентов нашего прекрасного университета, когда встречаюсь с ними в его коридорах и аудиториях, когда на своих семинарах беседую с ними, интересуясь их житьем-бытьем. А когда читаю пошлые, грубые или просто грязные автографы на стенах, на учебных досках, подчас рядом со святыми именами и мудрыми афоризмами наших учителей, меня охватывает бессильное отчаяние и обида, особенно когда такие надписи случается читать на стелах нашего памятника профессорам, студентам и сотрудникам университета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый год накануне празднования Великой Победы люди из ремонтной службы стирают эти надписи, но они вновь появляются к следующей памятной победной весне. Всякий раз я стараюсь привлечь внимание моих студентов к этим фактам, чтобы вызвать у них хоть какое-то осуждение этого варварства. Всякий раз они соглашаются со мной и разделяют мою обиду. Но всякий раз они, как мне кажется, спокойно и без чувства какой-либо собственной ответственности признаются, что не знают, как можно противостоять этому позорному явлению. И тут я горячо начинаю рассказывать им о наших общественных, политических, культурных, просветительских, самодеятельных, спортивных, комсомольских инициативах, о наших праздниках, капустниках, выездах в подшефные колхозы, на целину, на великие стройки, о наших комсомольских собраниях, порой на целый день, о резолюциях, принимаемых на них. Мои собеседники с интересом слушают мои рассказы о нашей жизни как о безвозвратно ушедшей в прошлое. Вежливо сочувствуя моей ностальгии, они, однако, остаются безучастными к происходящему. Тем живее приходит мне на память наша послевоенная устремленная к светлым идеалам и надеждам, вдохновенная комсомольская, студенческая, университетская жизнь.

Еще с довоенных времен и после войны в сороковые и пятидесятые годы гимном университету звучала песня:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы,
Но, конечно, там пунктиров нету,
По которым нам бродить по свету...

Песню эту, ее слова и мелодию сочинил студент географического факультета, имени которого теперь никто не помнит. Да и поют ее теперь очень редко, только, пожалуй, на встречах ветеранов-выпускников далеких сороковых и пятидесятых годов. А тогда она звучала, как своя, на всех факультетах, на праздничных вечерах, на комсомольских собраниях, на конфе-

ренциях молодых ученых, в студенческих лагерях, в походах и экспедициях. Через университетских выпускников она разлетелась по всей нашей необъятной стране, по всем ее республикам, городам, селам, в тундре, в тайге, в горах, в долинах – и везде будила молодежь, звала ее в незнакомую, но полную прекрасных ожиданий, надежд, открытий и счастья жизнь.

Пели в те годы в университете и другие очень звучные, бодрые, патриотически-призывные и мелодично-лирические песни. Но они были общими для всей молодежи страны, а наш «Глобус» был написан для нас. Он оставался нашим гимном. Много лет спустя после окончания учебы наши выпускники всех поколений в звучании ее мелодии узнавали друг друга, где бы они ни встречались, и протягивали друг другу руки дружбы и помощи, если она была необходима. Она и сейчас греет нашу ветеранскую душу и будит добрые воспоминания о нашей Alma Mater, о нашей студенческой молодости, о нашей братской солидарности, о юных сбывшихся и несбывшихся мечтах о любви и счастье.

Увы! Студенты МГУ постперестроечных девяностых годов песни о «Глобусе» не знают и не поют. Не знаю, поют ли они вообще какие-либо песни. По крайней мере, их звуков и мелодий за все это смутное и невеселое время в стенах университета и на прилегающих к нему улицах и площадях я не слышал. Правда, возродился не только у нас, но и в других вузах России “Gaudeamus”, но и его чаще сами студенты не поют, а слушают в исполнении хора. Вообще, приметной чертой современной, и не только студенческой, молодежи является не пение, а слушание песен и музыки. Их они обычно слушают в метро, на улицах, в университете, и не только в коридорах во время перерывов, но и на лекциях с помощью современных портативных электронных средств. Я часто вижу и там и тут этих меломанов с маленькими наушниками. И всякий раз меня поражают своим видом их лица. На них никогда не возникает какого-либо озарения, воодушевления или какого-нибудь другого чувства восприятия прекрасного. Как правило, лица выглядят тупо-сосредоточенными. Это выражение тупой обалделости дополняется и усиливается непрерывным жеванием жвачки. Глядя на эти жующие бессмысленные молодые лица, становится как-то не по себе. Невольно возникает чувство опасения за нашу молодежь, которую захватывает, как наркотик, умственная и чувственная деградация. Мы, старики, никак не можем воспрепятствовать этому модному электронно-музыкальному поветрию. Успокаивает, впрочем, надежда, что, может быть, в репертуаре записей аудиокассет бывают и греющие душу мелодии человеческой музыки.

Забытой студенческой песней кроме «Глобуса» оказалась и другая, родившаяся на нашем историческом факультете в конце пятидесятых годов. Помню, что впервые я услышал ее на июньском рассвете из окна своей комнаты в общежитии на Ленинских горах. Очередные выпускники в завершение прощального вечера и ночи пели ее дружно на площадке перед входом в университет под аккомпанемент аккордеона. На нем играла и дирижировала хором девушка. Может быть, она и была автором этой проникновенной прощальной песни. Кажется, ее фамилия была Иванова, но имя ее мне не запомнилось. Начиналась песня словами: «Деканат подпишет последний приказ». А потом в ней, помнится, пелось о поезде, который унесет всех в новую жизнь, к новым надеждам, оставив каждому добрую память о факультете, о верности, университетской дружбе и чести, память о ласковых взглядах подруг и прощальных объятиях друзей. С тех пор как я услышал эту песню, я часто вспоминаю то июньское рассветное утро, девушку в голубом платье с аккордеоном, простую мелодию и искренние слова ее песни, но никак не могу пропеть ее сам. Она звучит во мне, тревожит душу чувствами далекого расставания, но никак не хочет вернуться назад, в наш двор, на ступеньки у входа в университет, по которым взбегают похожие и не похожие на нас студенты. Верю, что как и когда-то нас, к его дверям привело их искреннее желание учиться в самом лучшем университете, на самых сильных факультетах и кафедрах в самых прославленных аудиториях и лабораториях у самых лучших и знаменитых профессоров. Знаю, что многие из них за прошедшие сорок лет после нашего прощания с университетом достигли высоких результатов в науке, прославили его сво-

ими открытиями и достижениями, удостоились высоких званий и почета. Обо всем этом я знаю и не завидую. Так все и должно быть. Одного только не могу понять: почему они так быстро и равнодушно пробегают мимо пошлых надписей, которыми испорчены стены коридоров и аудиторий? Почему их не раздражает вьезшая грязь? Почему некогда прекрасные рекреации нашего Храма науки превратились в места скопления совсем не похожих на студентов девиц и парней? Почему их давно уже не объединяет ни общественный интерес, ни спортивный азарт, ни остроумный студенческий интеллект, некогда процветавший в университете? Почему остались забытыми наши старые, но прекрасные песни и не сочиняются новые, еще более душевные и мелодичные?

Недавно на нашем историческом факультете состоялась встреча студентов, принимавших участие в пятидесятые годы в целинной эпопее. Мне самому посчастливилось возглавлять тысячный целинный отряд студентов МГУ, выезжавший на уборку урожая в 1957 году. На этом памятном вечере собралось более ста человек из отрядов 1956–1957 и 1958 годов. На эту встречу пришел дважды бывший членом нашего факультетского отряда бывший студент, а ныне доктор исторических наук и профессор Сережа Сергейчик. Он вместе с другим тоже нынешним преподавателем и бывшим целинником Геннадием Оприщенко был инициатором встречи. У обоих сохранились с целинных времен настоящие реликвии той молодежно-комсомольской эпопеи – письма, листки стенгазет, фотографии и даже наши студенческие песни, не только целинные, но и песни, родившиеся в археологических экспедициях, автором которых был бывший студент истфака, археолог, а ныне известный поэт Валентин Берестов. Сохранил Сережа и тексты песен из студенческих туристических походов, а также песни трудовых отрядов в колхозах Подмосковья. Мы решили тогда весь этот сохранившийся материал живого, ушедшего в историю времени передать в наш университетский музей. А тексты наиболее дорогих мне песен я передал на хранение в Отдел письменных источников Государственного Исторического музея. Может быть, когда-нибудь их найдет в этом хранилище национальной российской памяти историк, исследователь истории советской молодежи. Они помогут ему ощутить искренний патриотический пафос времени послевоенных лет университета, чувства и настроения студенчества, выраженные в песенном творчестве. А может быть, они, извлеченные из картонных коробок музейного архива, снова зазвучат в аудиториях, клубах, общежитиях, во дворах и на площадках университета, на улицах и в парках Москвы.

* * *

В послевоенные сороковые и пятидесятые годы в Московском университете, на двенадцати его факультетах одновременно училось около 16 тысяч студентов. В абсолютном большинстве они были комсомольцами, при бесспорном руководящем влиянии университетской партийной организации на жизнь этого огромного, разнохарактерного, многонационального, неудержимо энергичного, а то и безотчетно-буйного в каком-нибудь эмоциональном порыве студенческого коллектива. Учеба, быт, досуг, общественно-политические инициативы, спортивные игры, интеллектуальное творчество организовывалось в рамках комсомола. Ему принадлежал приоритет в организации инициатив, в придании им общественно-политического характера и в контроле за их идейным содержанием. В настоящее время историками-обществоведами и политологами принято оценивать комсомол как структуру тоталитарной советской общественной и государственной системы. Для такой оценки они без труда находят достаточно фактов из жизни этой молодежной организации, построенной на принципах «демократического централизма». Нет спора, энергия этого организованного отряда молодежи иногда действительно обретала жесткие формы директивного дисциплинарного и императивного руководства, а довольно часто, к сожалению, она выражалась в бюрократически административных формах идейно-воспитательного воздействия на сознание и поведение молодежи. Часто, к

сожалению, это воздействие, доведенное до крайностей, приводило к обратному результату. Таких случаев в истории комсомола было достаточно много. Но так же часто эти случаи становились предметом внимания и критического осуждения комсомольским и партийным руководством и рядовыми комсомольцами. Опасность формализма и бюрократического перерождения руководства многонациональной и многоукладной молодежной массой была достаточно реальна и зависела от качества руководящих кадров комсомольского авангарда снизу доверху. Я сам состоял в комсомоле с 1940 года до вступления в ВКП(б) в 1944 году и был рядовым комсомольцем, комсоргом стрелковой роты и батареи противотанковых пушек. После службы в армии университетская партийная организация вновь вернула меня в комсомол, и я был секретарем комсомольской организации курса, а затем и факультета, членом вузовского комитета и даже – членом Пленума Ленинского райкома комсомола. Будучи избранным на руководящие должности в партийные организации факультета и университета, я по обязанности принимал участие в руководстве университетским комсомолом и разделяю всю ответственность и за успехи, и за недостатки в его жизни. Мне приходилось видеть и конкретный формализм, и партийный бюрократизм, и административно-карьеристское усердие комсомольских чиновников в безотчетном холуйском рвении перед вышестоящими чиновниками, которые пробивали себе дорогу к теплому местечку. Некоторых из них, пополневших, польсевших, приобретших респектабельный вид демократов-либералов, мудрецов-философов, экономистов-спекулянтов в стихийном бедствии дикого рынка, публицистов-журналистов, я узнаю и на экране телевизора, и на трибуне парламента, ищущих консенсуса за круглыми столами, жующих и выпивающих за счет госбюджета за длинными сервированными столами торжественных приемов, заседающих в различных фондах, формулирующих и изрекающих постулаты нового образа мышления и поведения, обобщающих и пропагандирующих мудрость современной власти и непременно присутствующих на богослужениях в храмах с благостно-елейным выражением на лицах. Смотрю я на эти лица и вспоминаю, как они совсем недавно холуйствовали в поте своего рвения перед властью имущими в клятвенных обещаниях и призывах, как они настойчиво добивались признания своей верности общему делу и получали за это свою толику от этого «святого дела». Многих из них я помню еще в образе преуспевающих в учебе и общественной деятельности в нашем Московском университете, на нашем историческом факультете.

Смотрю я на эти лица и испытываю чувство непоправимого стыда. Многие из них выросли в подлецов на моих глазах, и я не сделал ничего, чтобы выставить напоказ их подленькие души. Стыжусь я от этого, но и тем более решительно не соглашаюсь с критиками нашего недавнего прошлого, с их попытками представить современной молодежи комсомол в образе отряда истуканов, шагающих под барабанную дробь или холуйски поспешающих за изображаемыми в едких карикатурах большевиками. В университете этот отряд состоял отнюдь не из истуканов и холуев, а из юношей и девушек, самостоятельно осмысливших свой выбор жизненного пути в большой науке, одухотворенных высокими гуманистическими идеалами справедливости и добра. Они искренне верили в эти идеи и во имя их достижения готовили себя к служению общему делу. Они были сплочены в одном отряде, которому были верны, и непримирымы к тем, кто обнаруживал вольное или невольное неверие и слабость. Комсомольская жизнь в университете звучно и в ярких формах и красках кипела и в сороковые, и в пятидесятые годы в унисон общему подъему, который переживала страна в послевоенный период. На своих собраниях, в учебных группах и на курсах, на факультетах и на университетских конференциях комсомольцы обсуждали свои успехи и неудачи в овладении наукой, спорили, соглашались и не соглашались, принимали решения, призывали друг друга к активной общественной работе, к участию в решении задач пятилеток, собирались в дальние дороги на великие стройки коммунизма, в экспедиции и турпоходы, организовывали строительные отряды на уборку целинного урожая и в подмосковные, совсем не передовые колхозы и совхозы, зарабатывали по копейке средства на строительство памятного знака погибшим на фронтах Великой

Отечественной войны студентам, аспирантам и преподавателям университета. И конечно, мы пели песни, каких сейчас не поют, – бодрые, озорные, задушевные, лирические и патриотические. Я горжусь тем, что и сам не оставался в стороне от общего увлечения и нашел в нем новых, на всю жизнь преданных друзей. Теперь самым молодым из них уже далеко за шестьдесят, а иным и вовсе пошел восьмой десяток. Я ничуть не жалею, что так долго оставался в комсомоле. Вряд ли нынешнее поколение будет осчастливлено по прошествии своего жизненного пути такой памятью о студенческой поре, какая ныне греет нас пережитыми чувствами братства, преданности, благодарности нашему Московскому университету.

В университетском комсомоле состоял и активно работал покойный ректор Рем Викторович Хохлов, которого большинство сверстников просто называли Ремом, несмотря на его солидный научный титул академика и мировую известность. Секретарем комитета комсомола механико-математического факультета был ныне действующий ректор, тоже академик Виктор Антонович Садовничий. Известен в университетском комсомоле был и академик-биолог Виктор Евгеньевич Соколов, ныне директор одного из институтов Российской Академии наук. А знаменит он был в студенческие годы как спортсмен-волейболист университетской сборной, неоднократный чемпион Москвы среди студенческих команд. И в комсомольской организации, и в спортивных состязаниях на футбольных и хоккейных полях известен был в сороковые и пятидесятые годы будущий математик и декан факультета вычислительной математики и кибернетики, член-корреспондент Академии наук Дмитрий Павлович Костомаров. Многие десятилетия был членом вузовского комитета ВЛКСМ бессменный декан факультета журналистики Ясен Николаевич Засурский. Секретарем комитета ВЛКСМ исторического факультета в середине пятидесятых годов был будущий академик ныне покойный Иван Дмитриевич Ковальченко. На химическом факультете учился комсомольский активист будущий академик Березин. И ему, ныне покойному, светлая память! Я не могу, к сожалению, перечислить и назвать всех имен комсомольцев известного мне времени. Скажу здесь только одно: высокий авторитет университетской комсомольской организации в Москве, да и в стране определялся не большим количеством ее состава, а высоким интеллектуальным уровнем комсомольского студенчества. Это было самым главным качеством, определяющим содержание всего комплекса молодежных общественно-политических инициатив в жизни не только самого университета, но и комсомола Москвы и всей нашей страны.

* * *

В тот год, когда мне, уже партийцу и ветерану, не вышедшему еще из комсомольского возраста, пришлось вновь зашагать под комсомольские песни, секретарем комсомольского комитета МГУ был Юра Рачинский, аспирант экономического факультета, тоже участник войны, сын сельских учителей с Витебщины, простой в общении, но, конечно, не без необходимых качеств молодежного лидера. Этому способствовал и его симпатичный внешний вид, и его успехи в учебе, и умение руководить не только узким составом актива, но и знать в лицо и по имени многих рядовых комсомольцев на всех факультетах. Именно доступность общения обеспечивала ему и популярность, и авторитет руководителя, и расположение к нему как своему парню, создавая условия для управления многотысячной организацией, всеми возникающими в ней инициативами. Юру знали все и, как правило, дружно откликались на его деловые призывы. Уже прошло много лет, как Юрий Михайлович Рачинский закончил свой жизненный путь. Немало лет прошло и с тех пор, как и комсомол ушел из жизни нашей молодежи. Я вспоминаю имя нашего вожака для того, чтобы те, кто, может быть, прочтет эти строки, знали, что комсомольцами были, отдавая свои силы, ум и одержимость благородными идеями и намерениями, достойные памяти и уважения люди.

Секретарем бюро ВЛКСМ нашего исторического факультета в 1949 году был избран Вася Пономарев, студент пятого курса, тоже партиец и тоже участник войны, родом из челябинской рабочей семьи, также вызывавший к себе доверие человек, умеющий руководить энергией людей в интересах общего дела. Правда, в сравнении с Юрой Рачинским наш факультетский секретарь был постарше и поскромнее внешним видом. Он, пожалуй, был и поспокойнее, и помудрее, и пообстоятельнее в выборе решений, касающихся общего дела, как и подобает уральцу. Так случилось, что и первый, и второй оказались избранными на руководящие должности в результате события, получившего широкий резонанс не только в университете, но и во всей Москве, и даже гораздо шире – в жизни комсомольской организации всей страны, которая была замечена на самом верху руководства комсомола и партии. А произошло оно на нашем курсе еще до моего на нем появления.

В 1949 году состоялся очередной XIV съезд ВЛКСМ. Тогда во всех республиканских и областных комсомольских организациях проходили собрания, на которых избирались делегаты на съезд. А Московскому университету в составе своей делегации на съезд было предложено избрать первого секретаря городского и областного комитета Николая Прокофьевича Красавченко. Это был человек довольно зрелого возраста и с большим опытом руководства московским комсомолом, известный еще с конца тридцатых довоенных годов. Он вошел в него в качестве секретаря МК и МГК ВЛКСМ после так называемого «разоблачения дела Косарева». Придя к руководству прямо со студенческой скамьи из Института философии, литературы и истории, он очень быстро закрепился в нем как один из авторитетнейших лидеров, пользовавшихся доверием и поддержкой вышестоящих инстанций.

Мне имя Н. П. Красавченко запомнилось с 1946 года. Правда, до этого, еще в 1942 году оно появилось в газетном сообщении о поездке советской молодежной организации в США. Тогда всем стало известно, что во главе ее были две личности – героиня обороны Севастополя Людмила Павлюченко и секретарь МК И МГК ВЛКСМ Н. П. Красавченко. О первой я уже кое-что знал из информационных сводок о севастопольской эпопее, а вторая фамилия никаких ассоциаций у меня не вызывала. В 1946 же году московский комсомольский вожак баллотировался в качестве кандидата на первых послевоенных выборах в Верховный Совет СССР депутатом в Совет Национальностей по Электростальскому избирательному округу. В тот год я, служивший сержантом второго мотострелкового полка краснознаменной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, впервые получил право участвовать в этих всенародных выборах. Тогда я и познакомился с биографическими данными нашего кандидата. Оказалось, что в этом качестве он выступал уже второй раз, что еще на первых довоенных выборах он уже избирался в этот высокий законодательный орган и, кажется, по тому же Электростальскому округу. Нам, избирателям, стало известно, что он был награжден двумя орденами Ленина, первым – за руководство комсомолом в борьбе за выполнение пятилетних планов развития народного хозяйства, а второй – за успешное руководство комсомолом в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тылу и на фронте. О личном участии Николая Прокофьевича в боях биографическая справка ничего не сообщала. Однако наградных реляций о его личном вкладе в строительство социализма, в дело победы над фашистской Германией и о его заслугах перед государством и народом в ней было предостаточно, и мы, воины-дзержинцы, как и все другие избиратели Электростальского округа, дружно проголосовали на выборах за его единственную кандидатуру.

Много лет позже мне довелось ближе познакомиться с Николаем Прокофьевичем и принимать участие в решении его персонального дела о восстановлении в членах КПСС. Жизнь его, увы, не состояла только из подвигов. На фронте он не был, в атаку не ходил и обороны нигде не держал. В начале войны, летом и осенью 1941 года, он возглавлял отряд добровольцев-москвичей на строительстве оборонных рубежей под Вязьмой. Большая часть отряда неожиданно оказалась в окружении. С небольшой группой Николаю Прокофьевичу удалось

выйти из окружения. Но в пути, опасаясь плена, он избавился от своего партийного билета. Так что в Москву комсомольский командир возвратился без отряда и партбилета. От неизбежного в подобных случаях наказания его спасло покровительство первого секретаря МК и МГК ВКП(б) Александра Сергеевича Щербакова. Оно же долго помогало ему в дальнейшей карьере комсомольского лидера. Более того, он был замечен самим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, неоднократно удостоивавшим его личной аудиенции и беседы.

В комсомольских вожаках всесоюзного масштаба Николай Прокофьевич оставался, далеко перешагнув за комсомольский возраст вплоть до ЧП, случившегося на комсомольском собрании нашего курса осенью 1949 года. Ни накануне, ни в ходе начавшегося собрания ничто не предвещало неожиданностей. Кандидатура первого секретаря МК и МГК ВЛКСМ, дважды кавалера ордена Ленина и секретаря ЦК ВЛКСМ под дружные аплодисменты была включена в список для тайного голосования по выборам делегатов на всесоюзный комсомольский съезд. Состоялось голосование, и очень быстро счетная комиссия подсчитала его результаты и опять под дружные аплодисменты объявила о том, что почетный кандидат оказался избранным единогласно. Но на следующий день на нашем курсе исторического факультета, а затем и в университете, и по всей комсомольской Москве разразился гром.

Была у нас на курсе скромная, серьезная, очень честная и высокоидейная девушка-комсомолка Валя Соколова. Сокурсники неслучайно избрали ее в состав комсомольского бюро на первом организационном собрании курса. Своей активной работой в нем она уже подтвердила правильность выбора своих товарищей. Высокую принципиальность она проявила и при голосовании на выборах делегатов съезда. По известным только ей мотивам и соображениям в бюллетене для тайного голосования она решительно зачеркнула фамилию, имя и отчество первого секретаря МК и МГК ВЛКСМ Н. П. Красавченко. Задала этим поступком скромная комсомолка Валя Соколова серьезный урок и себе, и своим товарищам по курсу, и всему Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. Услышав оглашенный председателем счетной комиссии комсомольского собрания курса Володей Волковым протокол о результатах единогласного голосования и о единогласном избрании Н. П. Красавченко делегатом на съезд, она не сразу решилась объявить товарищам о своем голосе «против» и совершенной при подсчете голосов фальсификации итогов голосования. Она-то ждала честных результатов, хотя совсем и не рассчитывала на то, что ее голос «против» повлияет на общий итог голосования. Но она совсем не ожидала, что даже очень близкие ей друзья смогли поступиться правдой и обмануть и других, и себя. Валя тогда совершила поступок, на который способны были не все. На протяжении всех лет учебы она не изменила себе, своим принципам совести и чести и никогда не противопоставляла их общему делу, интересам своих друзей и товарищей. Многие из нас, ее однокурсников, и после учебы в университете сохраняли с ней хорошие отношения. Все мы на протяжении многих лет неоднократно имели возможность убедиться в искренности и честности ее поступков. Она никогда не носила правду «за пазухой» и тем более не приберегала ее для каких-нибудь недобрых намерений, ибо она сама, прежде всего, была добрым человеком. И еще я знал, что все свои добрые качества Валя Соколова унаследовала от своих добрых и честных родителей, от своих школьных учителей, которые научили ее справедливости в оценке поступков и своих, и товарищей. Но главным ее советчиком и наставником был ее отец – Павел Дмитриевич Соколов, простой русский рабочий человек из крестьян, сумевший подняться в жизни до высокого уровня партийного руководителя. Ему-то дочь и рассказала о случившемся на комсомольском собрании. Он дал однозначный совет – рассказать своим товарищам о случившемся факте грубого нарушения Устава ВЛКСМ.

Не знаю, насколько часты были случаи нарушений установленных партийным и комсомольским законом норм поведения, подобных тому, который произошел на первом курсе исторического факультета. Знаю только, что я сам, тогда уже шесть лет будучи членом ВКП(б), никогда не допускал и мысли, что такое могло бы произойти при моем свидетельстве и уча-

стии. Но время от времени и тогда из газет приходилось узнавать, что в угоду авторитетам, из страха перед ними, а нередко из собственных недобрых намерений такие фальсификации, как отмечалось в газетных отчетах, «имели место». К сожалению, в годы брежневского руководства в жизнь партийных организаций внедрился порочный метод «регулирования и контроля» за ходом подготовки к выборам не только высших руководящих партийных органов, но и местных партийных и советских органов власти. К еще большему сожалению, этот деформированный метод «демократического централизма» не всегда получал должной оценки ни в партии, ни в комсомоле, ни в профсоюзах. Вот и понаизбирали мы в ту пору целую плеяду ловкачей и проходимцев, которые под обманными лозунгами перестройки социализма быстро расправились и с партией, и с Советской властью, и с высокими коммунистическими идеалами.

Валя Соколова поступила, как посоветовал ей ее отец. Она объявила своим товарищам, что голосовала против кандидатуры Н. П. Красавченко, и объяснила, что у нее есть причины не доверять ему. Всем стало ясно, что счетная комиссия совершила подлог, нарушила Устав ВЛКСМ, Инструкцию ЦК ВЛКСМ о порядке выборов в руководящие комсомольские органы. Возникшая ситуация стала предметом бурного обсуждения и разбирательства в коллективе курса. Председатель счетной комиссии на том собрании Володя Волков был исключен из комсомола. Свой поступок он объяснил своей неопытностью и неспособностью принять свое собственное принципиальное решение. Эта нерешительность привела его к другому порочному шагу. Он нарушил тайну голосования, пытаясь посоветоваться с присутствовавшими на собрании курса секретарем факультетского бюро ВЛКСМ студентом третьего курса и членом ВКП(б) Володей Тропиным. А тот, в свою очередь, «проконсультировался» по телефону с секретарем вузовского комитета Николаем Шишкиным. Так между ними сложилось мнение о некоем неудобстве перед вышестоящими органами комсомольского и партийного руководства, могущим повлечь обвинение в преднамеренной дискредитации «известного и заслуженного комсомольского лидера». Посоветовавшись между собой, старшие товарищи рекомендовали Володе Волкову изъять злополучный бюллетень с Валиным голосом «против» из подсчета результатов голосования, надеясь на то, что он возник случайно, непреднамеренно, по ошибке или неопытности. Наверное, все они были уверены, что никто не отреагирует на это изъятие открытым протестом. Но все получилось иначе. Очень редкий в практике общественной жизни того времени факт намеренной фальсификации вызвал решительный протест не имеющей никакого опыта политического поведения рядовой комсомолки. В итоге нарушители комсомольского устава поплатились строгими взысканиями. К этому, между прочим, комсомольцев исторического факультета и всего Московского университета призвал и сам Николай Прокофьевич Красавченко. Со строгими выговорами были освобождены от руководящих должностей секретарь вузовского комитета Николай Сергеевич Шишкин и секретарь факультетского бюро ВЛКСМ Владимир Тропин.

Персональные дела, как и сам факт случившегося ЧП, на нашем курсе стал предметом рассмотрения на бюро МК и МГК ВЛКСМ и на секретариате ЦК ВЛКСМ. Вот какую политическую встряску получил комсомол в результате поступка нашей сокурсницы. На курсе было проведено переизбрание состава бюро как не обеспечивавшего правильное руководство организацией, и, таким образом, всем ее членам был дан наглядный урок честного и принципиального отношения к уставным правам и обязанностям члена ВЛКСМ, к нормам гражданской ответственности. Это событие не прошло бесследно. Мне кажется, что в последующие годы наш курс заметно отличался от других учебных потоков тем, что в нем с тех пор укоренилось и окрепло дружное неприятие лжи и ханжества, тем более подхалимства. Показной авангардизм не находил у нас никакой поддержки. Мы не демонстрировали неестественную солидарность. А просто старались жить дружно, уважая друг друга, помогая друг другу, терпеливо относясь к неудачам и ошибкам друг друга и, конечно, не скрывая своего несогласия с тем, что мешало нашему дружному общежитию.

Ну а что касается Николая Красавченко, нам не казалось тогда, в дни ЧП на нашем курсе, что происшедшее как-то поколеблет его авторитет и отразится на его дальнейшей карьере. Он ведь немедленно отреагировал тогда на случившееся, дав ему принципиальную оценку. Он не предпринял тогда попытки дезавуировать факт нарушения Устава, напротив, решительно осудил его и принял меры к защите комсомольской демократии. И все же этот факт имел последствия и для него. В тот же год XIV съезда ВЛКСМ решением бюро МК и МГК ВКП(б) он был исключен из партии за грубые нарушения в руководстве московской областной и московской городской комсомольской организацией.

В чем они выражались, нам, рядовым комсомольцам, знать не было дано. Одновременно с принятым партией решением Центральный Комитет ВЛКСМ освободил его от всех занимаемых постов в комсомоле.

Судьбе было угодно распорядиться жизнью этого незаурядного руководителя и совсем неоднозначного человека так, что он должен был начать ее снова на нашем историческом факультете в качестве аспиранта на кафедре истории СССР под руководством профессора Петра Андреевича Зайончковского, знакомого ему еще по учебе в ИФЛИ. В этом качестве мне довелось познакомиться с ним, услышать и узнать от него самого много интересного и о его жизни, и о руководителях партии и страны, лица которых мне были знакомы лишь по портретам, газетным отчетам, кадрам кинохроники и по учебникам. Много терпения и усилий пришлось приложить ему, чтобы вновь вернуться в строй единомышленников и соратников по партии. Он защитил кандидатскую диссертацию по истории революционного движения в России и стал преподавателем на нашем факультете. Много лет он был бессменным членом и даже председателем профкома факультета. Мне пришлось участвовать в обсуждении его заявления с просьбой вновь принять его в члены КПСС. В конце концов Николай Прокофьевич вернулся в строй руководителей. Сначала его направили в далекую Караганду в качестве ректора тамошнего пединститута. Потом с хорошей рекомендацией опытного организатора его перевели в родную ему Калмыкию в том же качестве ректора пединститута в Элисте, который он реорганизовал в короткий срок и добился перевода в статус Калмыцкого государственного университета. Вскоре он был избран в депутаты Верховного Совета Автономной Республики Калмыкии. Наконец, он возвратился в Москву и стал ректором Государственного Историко-архивного института и членом Коллегии Главного Архивного управления СССР. Таким оказался пик его новой карьеры после ЧП на нашем курсе. Это обеспечило ему все полагающиеся привилегии – кремлевскую больницу в Кунцеве, кремлевское снабжение, бесплатные путевки в дорогие санатории, присутствие на представительных собраниях, конференциях, государственных торжествах и много других мелких радостей, недоступных простым людям. Оставив эти посты, он, наконец, в почтенном возрасте вышел на пенсию. Неоднозначным был этот незаурядный человек и в поведении своем, и во взглядах на жизнь, сумев однажды подняться до самого высокого положения в карьере общественно-государственного деятеля и потеряв его. В силу своего организаторского таланта он смог снова добиться утраченного и государственных привилегий. Я много лет знал Николая Прокофьевича, был с ним в приятельских отношениях. Случалось, что он помогал мне в решении некоторых жизненных проблем, а я сочувствовал ему и оказывал поддержку его инициативам на факультете, голосовал за его возвращение в ряды КПСС. Однако, признавая некоторые его достоинства как организатора, я бы сам «в разведку с ним не пошел», зная о бесславном выходе из окружения под Вязьмой без партбилета и оставленного им отряда. Не знаю, какой мог быть у него тогда другой выход из создавшегося положения. Нашего брата за подобное направляли в трибунал и штрафные роты. Думается, что главным недостатком Прокофьяча – я так и звал его в нашем общении – было то, что во главе его поступков и поведения стоял карьерный интерес. Он вел его по жизни и был причиной и его взлетов, и его падений. Как далеко все это ушло в прошлое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.